

Александр Смулянский



ЖЕЛАНИЕ ОДЕРЖИМОГО

НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВОСТИ
В ЛАКАНОВСКОЙ
ТЕОРИИ

Александр Смулянский

**Желание одержимого.
Невроз навязчивости
в лакановской теории**

«Алетейя»

2017

УДК 159.972

ББК 88.37

Смулянский А.

Желание одержимого. Невроз навязчивости в лакановской теории /
А. Смулянский — «Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906860-17-0

Невроз навязчивости, или так называемое обсессивно-компульсивное расстройство, долгое время вслед за Зигмундом Фрейдом являлось предметом интереса психоаналитиков. Сегодня интерес этот начал угасать, причиной чего является недостаточное осмысление посыла, составляющего существо работы Фрейда в области структур навязчивости. Тексты Жака Лакана, проблематизировавшего фрейдовскую мысль, содержат материал, проработка и развитие которого позволяют вновь вернуть обсессии теоретический потенциал. В работе подчеркивается, что вклад Лакана позволяет изучать и анализировать симптоматику навязчивости не как индивидуальное нарушение, а как структуру, широко обнаруживаемую в психическом устройстве современного субъекта. Книга освещает ряд феноменов душевной жизни субъекта навязчивости – таких как борьба за признание, взаимоотношения со своим симптомом, любовная жизнь и фобические явления. Работа адресована психоаналитикам, философам и широкому кругу лиц, интересующихся фрейд-лакановским психоанализом и проблематикой современности.

УДК 159.972

ББК 88.37

ISBN 978-5-906860-17-0

© Смулянский А., 2017

© Алетейя, 2017

Содержание

Невроз навязчивости и тревога психопаналитика	7
Введение	30
Глава 1	38
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Александр Смулянский
Желание одержимого: невроз
навязчивости в лакановской теории

© А. Смулянский, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

* * *

Невроз навязчивости и тревога психоаналитика Выступление на презентации «Желания одержимого»

Мы говорим сегодня о неврозе, который в перечне известных психоанализу расстройств традиционно следует под вторым номером. Речь о нем обычно заходит, когда необходимо перечислить все то, что находится после истерии, – именно тогда вспоминают про Obsessive Compulsive Disorder, находящуюся в тени номера первого. Этого радикально недостаточно, и о навязчивости приходится говорить еще и еще, поскольку нечто связывает с Obsessive Compulsive Disorder не только современного субъекта как такового – субъекта, которого иногда называют субъектом капиталистической системы или субъектом, чьи основания были заложены в сочетании модернистской философии и просвещенческой педагогики, – но и субъекта в том его виде, в котором он обнаруживается на уровне, открытом Фрейдом. На этом уровне субъект не может увидеть, какой объект для Другого он представляет, и слепота его, как мы знаем, организована определенным образом, в регистре сопротивления. Невроз навязчивости, являясь наиболее полным воплощением этого регистра, указывает на то, что опыт Фрейда действительно может быть поверен и у него есть определенные основания. Я забегаю вперед, намекая на то, что истерия, при всей ее сплетенности с зарождением аналитического мышления, такой прочной основы предоставить не может. И поэтому здесь, в стенах Музея сновидений Фрейда, я хотел бы говорить о том скрытом беспокойстве, которое сопровождает упоминание этого невроза. Беспокойство это носит именно профессиональный характер, оно является уделом аналитиков и выражается в той крайне скупой речи, которая неврозу навязчивости обычно адресуется.

Очень трудно представить себе, чтобы современные аналитики, поддерживающие определенные исследовательские стандарты, стали бы неврозом навязчивости специально заниматься. Дело не только в вопросах моды, хотя последняя красноречиво говорит о том, что именно сегодня занимает умы психоаналитического сообщества, объединяющегося возле наследия Лакана. В нем мы встречаемся с разного рода штудиями, посвященными психозу. Также анализ все активнее осваивает территорию детской комнаты – например, в тех формах, в которых он посвящает себя нейроатипичным субъектам. Но аналитики никогда не уделяют достаточно времени навязчивости. Создается впечатление, что Obsessive Compulsive Disorder настолько хорошо исследована, что у них как будто бы нет оснований заниматься ей специально. Впечатление это ошибочно, и я намереваюсь показать, что именно в теме невроза навязчивости наличествует то, что может вызвать у психоаналитика настоящую тревогу.

Именно по этой причине после Фрейда, буквально умолявшего обратить на невроз навязчивости особое внимание, и за исключением Лакана, открыто заявившего, что с теорией, которая никак не может определить сущность этого невроза, что-то не в порядке, мы не встречаем в аналитической мысли каких-либо ярких посвященных ему прозрений. Напротив, все известное на его счет до сих пор вполне укладывается в пространство медицинского психиатрического дискурса. Другими словами, навязчивость, в отличие от истерии, перверсии или психоза, не стала причиной ни одного из ярких психоаналитических открытий. За исключением нескольких бесценных страниц Лакана, проливших совершенно иной свет на структуру Obsessive Compulsive Disorder и неизбежность ее появления в субъектной структуре, невроз этот долгое время находился в тишине произносимых о нем тривиальностей.

У этого несомненно должна быть какая-то причина, и заключаться она может лишь в том, что у аналитика, как я хочу показать, есть основания поднятия этого вопроса остерегаться. Основания эти хорошо проявились в ходе семинара, проведенного Жаком-Аленом Миллером в Барселоне, где ему был задан вопрос: чем именно симптом навязчивости отличается от симптома истерического? Миллер в своей характерной манере отвечает, что симптом истерический

очевиден, тогда как о симптоме навязчивости можно сказать лишь то, что он не явлен. Ответ этот следует понимать в особом режиме, который идет вразрез с медицинской практикой, считающей, что именно навязчивый невроз содержит наиболее яркие проявления сугубо невротической патологии, в частности выражающиеся в навязчивых мыслях и действиях. Но Миллер делает совершенно верное замечание, потому что в пространстве психоанализа действительно не существует узаконенной возможности говорить о навязчивом симптоме. В его многообразных проявлениях, распространяющихся на все сферы психической жизни, перед нами вырисовывается то, что можно назвать «субъектом как таковым». В этом навязчивость и заключается: не являя себя прямо, она господствует в той области, где субъект формируется, и занимает его бытие целиком.

Это несет для аналитика определенную угрозу, потому что навязчивость в этом виде не позволяет работать с собой так, как позволяют работать даже такие наиболее изысканные и сложные явления психической жизни, как психозы. Чем привлекателен психоз, так это тем, что он напоминает, чем ранее была привлекательна истерия: у него есть предмет – нечто в субъекте, что оказывается ему чуждым настолько, что об этом можно говорить предметно и совершенно открыто. В психозе мы встречаемся с бредом или с каким-либо специфическими образованиями в личности, которые позволяют судить о природе страдания и делать определенные заявления на этот счет. Здесь, как это ни странно, специалист практически ничем не рискует. Сколько бы ни говорилось о том, что психоз бросает аналитику вызов, мы не замечаем, чтобы предупреждение Лакана имело какой-то смысл и кто-то перед психозом пасовал, – напротив, специалист в работе с ним всегда готов проявить отчаянную смелость. Это означает, что психоз не вызывает в нем никакой тревоги. Даже опасаясь, что ему не удастся справиться, психоаналитик проявляет готовность работать с тем, что уже определено и потому придает ему мужества, поскольку никак не касается его собственной позиции. Выигрыш или проигрыш аналитика в каждом из подобных случаев могут быть довольно отчетливыми, но они ничего к его бытию не добавляют.

С навязчивостью все обстоит наоборот: мы знаем, что успех в ее анализировании настолько тонок и расплывчат, что в отдельных случаях разница между началом и завершением анализа сказывается лишь в нюансах. Тем не менее именно в работе с этим неврозом есть нечто такое, что затрагивает саму позицию психоаналитика. Замечает это именно Фрейд: работая с Человеком-крысой, наиболее известным и крупным случаем навязчивости в истории психоанализа, Фрейд ловит себя на том, что ему приходится говорить о симптоме навязчивости на том же языке, на котором анализант ему о своих тревогах и симптомах повествует. Другими словами, он неожиданно обнаруживает, что лишен почвы, – ощущение, которое при работе с истерическими пациентами его не посещало. Если в отношении истерических случаев Фрейд занимает метапозицию, поскольку у него есть аналитический язык, который он может с определенной долей уверенности предложить истеричке, то в анализе навязчивости Фрейд обнаруживает, что способен лишь повторять за субъектом. Пациент накидывает Фрейдю массу разрозненных фактов и разнообразных случившихся с ним происшествий: это и небольшая сумма, которую он задолжал некоему лейтенанту и которую приходится отдавать с ухищрениями, это и попытка сойти на станции для того, чтобы сесть в другой поезд и вернуться в место, куда возвращаться ему не надо, это и обстоятельства, связанные с его влечением к даме, ненависть к отцу и масса всего прочего, не связывающегося в единое целое даже на уровне аналитической интерпретации. Фрейдю приходится заметить, что, по существу, все психиатрическое знания, на которое он, даже существенно от него отойдя, продолжал опираться в случае истерии, ничего здесь не дает именно потому, что в своем дискурсивном облики это знание лишь дублирует навязчивость. Бесчисленное количество раз тавтологично повторяя, что субъект навязчивости страдает от обсессивного повторения, медицинская наука становится ничем иным как материалом, который сам навязчивый субъект прекрасно усваивает еще на первом

шаге своих взаимоотношений с медицинским текстом – не существует невротика навязчивости, который не был бы в курсе основных проявлений своего страдания.

Обнаруживая, что его собственная позиция находится в этом анализе под вопросом, Фрейд предпринимает решительный шаг, последствия которого я сейчас покажу, указав также на то, что этот шаг, в какой-то степени снова поставив анализ на твердую основу, сделав навязчивость явлением аналитическим, тем не менее заводит Фрейда в своего рода тупик. Этот тупик не позволял аналитикам никуда двинуться до тех пор, пока в вопрос навязчивости не вмешивается Жак Лакан.

Что делает Фрейд, чтобы выйти из пут навязчивости и прекратить бессмысленный поток обстоятельств, которыми анализант с ним делится, но которые, по существу, к пониманию случая не продвигают? Фрейд предполагает, что ему следует действовать так, как он действовал в случае истерии: искать значение. Мы знаем, в чем, собственно, состоит метода Фрейда в ее классическом обличье: существует содержание явное, и в то же время существует нечто такое, чего это содержание не касается, но косвенно на него указывает. То есть в случае, когда нам явлено одно содержание, необходимо искать другое. Оно может быть дано на уровне метафоры – например, быть кардинально противоположным, как в случае вытеснения враждебных ощущений, прикрытых маской любви или уважения – или же метонимически обнаруживаться в стороне, то есть быть непохожим на первично предъявляемое в анализе содержание, но при этом представляющим некий психический процесс, который в этот момент оказался неподатливым. Так или иначе, Фрейд полагает, что в данном случае на значение вполне можно положиться. Поэтому он начинает распутывать клубок всего того, что пациентом ему наговорено, и постепенно картина складывается в ее совокупности, поскольку обнаруживается все то, что Фрейд предчувствовал и хотел обнаружить. Обретает свое место и враждебное отношение к отцу, и садистическая фантазия с крысами, связанная с возможностью осуществить любовный акт, несомненно подкрепляющая не столь далеко отстоящее от этого случая рассуждение Фрейда о недомоганиях в сексуальной жизни, свойственных навязчивому типу, который способен реализовать себя сексуальным образом только в том случае, если со стороны объекта имеет место какая-либо поврежденность. Важно, что Фрейд не ошибается в этом отношении и проводит эту фантазию строго по тому ведомству, где ей и место, – не являясь фантазией садистической, она сопряжена исключительно и только со слабостью желания, в целом навязчивому невротик присущей.

Тем не менее Фрейду приходится спасовать, когда анализант предлагает ему наиболее интимное обстоятельство, сопряженное с его отношением к отцу: эпизод неполной мастурбации перед зеркалом, которую пациент совершает каждый вечер, выходя в холл после своих институтских занятий, – мастурбации, которая была отцу адресована так, как если бы он мог вернуться в виде призрака, поскольку к тому времени он был уже мертв. Фрейду приходится искать скрытое значение и он предполагает, что здесь имеют место два противоположных импульса. С одной стороны, это импульс любви к отцу и, с другой стороны, импульс враждебности как доказательство отцу того, что его мнение больше не имеет значения. Обратив внимание на совершившийся, по его мнению, вызов, бросаемый невротиком отцовской власти, Фрейд в то же время признает, что в чем-то он заходит в тупик и навязчивая фантазия для него до конца не ясна. Помимо колебания от враждебности к любви и уважению, в ней не удастся больше ничего усмотреть.

Это показывает, что в ходе поиска значений Фрейду до известной степени не удалось вырваться за пределы того Воображаемого, как сказал бы об этом Лакан, которое навязчивость аналитику предлагает. Можно сказать, что явное содержание так и осталось явным и разгадки поведения пациента Фрейд не достигает. Упирая на значение как на существующее возможное истолкование навязчивого действия – позиция, которую Фрейд занимал и впоследствии, в чем можно убедиться из его «Лекций по психоанализу», где он говорит о том, что любое повторное

действие может найти толкование в биографическом материале, – Фрейд тем самым в какой-то степени откладывает навязчивость на потом. То, что оказывается годным для истерии и действует в ней именно потому, что толкование вызывает у пациента активное неприятие, в случае навязчивости воздействия не оказывает. Более того, Фрейд наталкивается на то, что навязчивый субъект в анализе достаточно подготовлен не только для того, чтобы воспринять толкование, но и чтобы в должной мере оценить его красоту интеллектуально, что и означает в его случае сопротивление.

Именно здесь обнаруживается важная вещь, впоследствии подвергнувшаяся почти полному забвению и восстановленная лишь Лаканом, а именно логическое соположение навязчивого симптома и собственно аналитической сцены.

Выяснилось, что невротик навязчивости – это не истерик, воспринимающий толкование как нападку на то, что ему лично дорого – на желание, которое он холит и лелеет, оберегая в истерическом молчании. Невротика навязчивости таким образом с толку не собьешь. Какое бы знание ни давал ему аналитик, оно для него не оказывается тем, в чем бы он обнаруживал нечто для себя неизведанное, выходящее за границы его собственной рационализации. Другими словами, он не обнаруживает там себя самого, но зато превосходно способен идентифицироваться с местом, откуда интерпретация исходит.

В итоге Фрейд блестяще, как он обычно это делал, продемонстрировал именно пределы анализа в тот исторический момент, когда анализ впервые с навязчивостью начинает работать. И когда после более чем сорокалетнего молчания к этой теме подходит Лакан, он в первую очередь предполагает, что ключ к толкованию навязчивости искать нужно вовсе не здесь. Если Фрейд еще видит в ярких симптомах навязчивости, в компульсивностях, obsessions, постоянных самопроверках, которые невротик навязчивости предпринимает, какой-либо след угасшего, но реального психического процесса, приведшего к развитию невроза, то Лакан в случае работы с навязчивостью о ритуальности не говорит вовсе. Многократно описанная в медицинской литературе внешняя симптоматология obsessions Лакана не интересует; он сразу устремляется в совершенно другое место, которое позволяет ему обойти ловушки, в которые обычно попадают терапевты.

Первая из этих ловушек связана с тем, что невротик навязчивости демонстрирует в анализе послушание. Он настолько в этом отношении контрастирует с истериком, что есть даже выражение, описывающее анализ навязчивого субъекта как «медовый месяц» аналитика. Если в случае истерии аналитик обречен наталкиваться на враждебность, черпая из той самой горькой чаши, с которой столкнулся Фрейд, работая с Дорой, оспаривавшей позицию аналитика, то в случае невротика навязчивости специалист встречается с безграничным к себе уважением. Любые интерпретации принимаются, любое воздействие со стороны аналитика в случае навязчивости встречает содействие со стороны невротика. В таком анализе, как может показаться, происходит мощная интеллектуальная работа – именно она до такой степени восхитила Фрейда в случае Человека-крысы, что в дальнейшем он отказывал в диагнозе навязчивости всем, кто, по его мнению, не демонстрировал достаточного интеллектуального уровня.

Нет сомнений, что на определенном уровне так и есть: в лице невротика навязчивости перед нами всегда, конечно же, субъект интеллектуальный. Более того, по сути, то самое интеллектуальное состояние современности, в котором мы волей-неволей находимся, пользуясь, хотим мы того или нет, тем, что Лакан называет «знанием», – вся наша специфическая культурность и просвещенность, наша включенность в политическую повестку и в гражданские процессы – по существу, и есть то, что поддерживает характерный для навязчивости рационализированный фон. Любой субъект такого просвещенного типа является неплохим толкователем и даже, если это необходимо, аналитиком всех тех процессов, с которыми он сталкивается. Каждый из нас является, например, стихийным философом или литературным критиком, знающим, как следует встречать ту или иную публикацию или новость. Здесь недостатка в обра-

зовании нет ни у кого. Именно поэтому вся подкованность, которую невротик навязчивости демонстрирует – его неустанный самоанализ, его готовность идти в своем собственном анализе на сотрудничество со своим аналитиком – на поверку ничего не стоят, точнее, стоят ровно того, чего стоит любое вхождение в анализ: перед нами контракт, соглашение на условно мирной основе. Аналитический альянс в таких случаях может длиться сколько угодно – анализ навязчивых невротиков длится годы, в отличие от некоторых анализов истерии, которые склонны заканчиваться внезапно, как это произошло в случае Доры. Навязчивый невротик готов ходить в анализ бесконечно, он принимает все резоны аналитика, он готов учиться и не прочь потом поучить других тому, что он в анализе узнал. Это в ряде случаев сбивает аналитика с толку. Так, Фрейд, окрыленный успехами в случае истеричек, реагировавших на его теоретические разборы сильной тревогой и психическими изменениями, пытается использовать те же приемы с Человеком-крысой. Он предлагает ему аналитическую теорию и немедленно наталкивается на то, что она ничего в субъекте не производит и никаких новых воспоминаний не вызывает – субъект готов бесконечно повторять лишь то, с чем в анализ он уже пришел, так что все попытки с воспроизводимого им содержания его переключить поначалу оказываются бесплодными.

Таким образом, именно благодаря неврозу навязчивости мы видим повод для аналитика задуматься о том, чем является его практика в ее обычном виде. Как правило, считается, что в этой практике существуют вещи, которые нельзя трогать. Помимо сеттинга, на который никто со времен Лакана не покушался, есть еще своего рода пространство взаимного уважения, сотрудничества, т. н. альянса, которое, как кажется, в анализе выходит на первый план. Ни в коем случае не призывая ни к каким революционным изменениям, можно лишь отметить, что общее мнение, будто бы в анализе, который мы называем классическим, происходит именно это, в некоторой степени ошибочно с самого начала. Все эти благолепные вещи удивительным образом оказываются «мимо». В случае истерички это не работает потому, что истеричка аналитику ни на грош не верит и благодушие специалиста лишь подтверждает для нее реальность той циничной лжи, которой, как ей кажется, она в своем окружении опутана. В случае же навязчивого невроза это не работает ровно в той степени, в которой навязчивый невротик готов идти на сотрудничество и без этих проповедей. Это ничем ему не угрожает, это не затрагивает ни его симптом, ни ту навязчивую структуру, на основании которой симптом произрастает. Именно это Лакан и отмечает в первую очередь.

Именно поэтому большая часть анализов навязчивости, какой бы респектабельной ни была сама их практика и какие бы положительные эффекты в отдалении она ни приносила, сводятся в своем роде к дипломатической войне. Пока не наступило нечто такое, что Лакан называет «переломной точкой», изменений к лучшему не происходит, но ухудшений не происходит тоже. Именно поэтому Лакан предполагает, что необходимо что-то еще, но предложить это возможно в том случае, если сам феномен навязчивости будет пересмотрен. Не в последнюю очередь именно это подталкивает Лакана не только к вкладу собственно в теории obsessions, но и стимулирует тот общий вклад, который Лакан в теорию психоанализа совершает, поскольку фрейдовский анализ в самом своем фундаменте был разработан для взаимодействия с истерическим субъектом и предполагает те способы конфронтации, которые способны вызвать реакции именно со стороны последнего.

Напротив, как выше было сказано, невротик навязчивости умудряется аналитика обмануть именно тем, что выше было названо покорностью, даже сервильностью в анализе. Это означает, что, по всей видимости, какого-то знания о невротике навязчивости нам недостает: необходимо более четкое понимание того, как устроена структура навязчивости. Это понимание, как было сказано выше, требует шага за пределы того, что в случае навязчивой симптоматики бросается в глаза в первую очередь.

Возможно, именно это является причиной, по которой теория навязчивости так медленно продвигалась в истории развития анализа. Здесь радикально недостаточно тех средств осмысления, которые готовы зачастую на Obsession потратить. Она кажется настолько безопасной, настолько привычной, что тот фон, который она вносит в анализ укрепляет аналитика в его уверенности, а не разочаровывает. У навязчивости, как у беспроблемного ребенка, очень мало шансов попасть в зону теоретического внимания, стать предметом подлинного исследовательского интереса. Но именно тот обман, та череда уступок, которые сам аналитик невольно совершает, работая с невротиком навязчивости, потому что к этим уступкам склонен и сам невротик, та система обмена любезностями, в рамках которой такой анализ зачастую протекает, и подсказывает нам, что в данном случае аналитик становится непосредственной жертвой навязчивости.

Происходит так не в последнюю очередь именно потому, что до Лакана не существовало представления о том, что именно в неврозе навязчивости является своего рода пуповиной, местом прикрепления симптома. Если в случае с истерией, как правило, фигурирует пресловутая травма, которую Фрейд пытался в разные периоды жизни обнаружить, так и не найдя, впрочем, для нее определенного места, в случае именно аналитического симптома навязчивости ничего подобного не обнаруживается. Войти в него с той же самой стороны, что и в случае с истерией, практически невозможно – и это при том, что, как уже было сказано, отдельными симптомами этот невроз богат как никакой другой. Это создает интересную, почти скандальную ситуацию в его аналитической теории, которая частично объясняет то самое, адресуемое навязчивости, глухое молчание, о котором было сказано выше.

Что предпринимает Лакан? Первым делом он дает нечто такое, что можно было бы назвать не диагностикой, а скорее аналитическим описанием. В его семинарах невротик навязчивости фигурирует не как невротик с типичными для него навязчивыми идеями, а как субъект, который вступает в определенные отношения с объектом и с наслаждением, которое он может от объекта получить. В действиях невротика навязчивости обнаруживается стратегия, которой он не намерен поступаться и которая до конца анализу не поддается. Это печальная истина, но она является лишь начальным фактом, отправной точкой, поскольку в анализе для этой стратегии открываются новые обстоятельства. Другими словами, невроз навязчивости не прерывается, а развивается, и анализ способен использовать ход этого развития себе же на пользу. В анализе невротик навязчивости может продолжать ту же самую сеть своих маленьких сделок с инстанцией Блага, к которым он чрезвычайно склонен и в своей повседневной жизни. Долакановский анализ ему в этом практически не мешает, если речь идет о классическом анализе, особенно психотерапевтического характера, нацеленного на стабилизацию невроза. Поэтому Лакан замечает, что искать слабое место невротика навязчивости надо именно там, где он выстраивает свои стратегии наслаждения. Эти стратегии никогда не носят такого драматического, яркого, даже мучительного характера, как при истерии. Они напоминают скорее море в спокойную погоду, где колебания незначительны, но при этом существует пункт, где невротик навязчивости не готов потерпеть поражение. Что его интересует в анализе, так это то, что он может выйти сухим из воды. Именно это зачастую ему и удается. Анализ он покидает отнюдь не разочарованным, но тем не менее нечто такое, что характеризует отношения невротика навязчивости с его удержанным Благом – Благом, которое он вырывает у того, кого мы называем «Другим», остается нераспознанным.

Именно поэтому лакановский анализ предоставляет для анализа навязчивости такую прочную основу. В отличие от фрейдовского, он по существу является анализом, адресованным структурам навязчивого образования. Не на это ли указывает то, что большинство базовых лакановских концептов – Воображаемое, прибавочное наслаждение, объект *a* – это элементы, которые в первую очередь позволяют истолковать психический аппарат именно невротика навязчивости и как будто идеально созданы для того, чтобы внести в работу с ним какую-

то новизну. Это, как правило, остается незамеченным, потому что мы привыкли работать с текстом Лакана так, как мы в принципе работаем с теоретическими текстами, где существует некий аппарат, который необходимо усвоить, перед тем как найти ему применение. Читателю Лакана, как ему самому кажется, необходимо узнать, что такое «желание другого», Реальное, Воображаемое, отцовская метафора, что такое тревога, в конце концов. На постановку этого аппарата в мысль – на то, чтобы в представлении читающего он приобрел какую-то связность, выступил бы инструментом чего-то более деятельного, – как правило, уходят годы. Именно из-за этого остается незатронутой тема того, что аппарат этот спровоцирован определенной темой – что, конечно, не означает, что использовать его надо так же узко. У нас, как уже было сказано, не вызывает сомнений то, что фрейдовский аппарат ориентирован на истерика – даже если последнее и обнаружило в итоге свои пределы, например, в работе с психозом. Разрассказать в полноценное учение о началах бессознательной психической жизни в целом это ему не помешало. Но никогда не говорится о том, что лакановский аппарат создан для того, чтобы дать обсессии в своем роде новую жизнь на аналитической сцене и в клинической практике.

Например, что такое тот самый лакановский большой Другой, о котором говорят не только аналитики, но к чьей фигуре прибегают философы, социальные критики, журналисты и даже кинематографисты? Что это за персонаж? Как правило, мы склонны мыслить его предельно общо – справедливо полагая, что этот концепт касается каждого, у нас тем не менее не возникает ощущения, что у его происхождения есть какая-то специфика. Речь идет чуть ли не о божественной инстанции, исполненной смыслами и регулирующей тревогу. Но дело именно в том, что в зависимости от типа невроза необходимо говорить о большом Другом отдельно. Он не остается одним и тем же и в случаях истерии, и в неврозе навязчивости, соответственно, и взаимодействия тех или иных невротических процессов в его отношении тоже не остается чем-то идентичным. Следует сказать, что Другой навязчивого невротика просто идеально устроен для того, чтобы описать его в качестве именно Другого большого, потому что отношения, которые навязчивый невротик с ним поддерживает, по существу, раскрывают нам то, чем является большой Другой для того, что Фрейд называет современной цивилизацией.

Как правило, если кто-то читает издания специалистов современной лакановской школы, то он может увидеть отдельные замечания о том, что у невротиков навязчивости с Другим какие-то проблемы, что он его не знает и знать не хочет в принципе. В каком-то смысле это справедливо: существует весомое подозрение, что в неврозе навязчивости наличествует нотка чего-то, что психологи, не имеющие дела с анализом, называют шизоидной позицией.

Но и аналитики сплошь и рядом упрекают навязчивого невротика в черствости: нам говорят, что по существу он не способен к выстраиванию глубоких отношений с Другим, что нечто мешает ему вступить с ним во взаимодействие.

Толика истины в этом есть. Но истина эта верна лишь потому, что существует другая диспозиция Другого и иной к нему доступ, в котором невротик навязчивости как раз напротив кровно заинтересован. Это доступ, где Другой является носителем категории, которой Лакан уделяет очень много времени, но которой часто незаслуженно пренебрегают, полагая, что в лакановском тексте можно найти вещи поинтереснее. Я скажу об этом пару слов, потому что многие считают, что эта категория не имеет для теории существенного значения, что характерна она лишь для Лакана незрелого, раннего и что впоследствии он успешно преодолевает ее, устремляясь к более интересным предметам. Речь идет о категории «признания».

Много раз можно было услышать о том, что категорию эту Лакан почерпнул не из оригинального аналитического развития, а из философского кружка Кожева, который он посещал еще в довоенный период, и что признанность, играя определенную роль на уровне символического запроса, не является тем, что в понимании субъектной структуры было бы определяющим. Есть, в конце концов, более весомые вещи, к которым подходит поздний Лакан, – например, желание за пределами символического или наслаждение телом.

Это мнение заставляет видеть в посвященных признанию текстах Лакана непроработанные гегелевские остатки, которые, как многие считают, гораздо более остроумно были преодолены уже у Адорно. То есть признанность не кладется нами в основание анализа и, в частности, в основание анализа навязчивости (а это, если говорить статистически, большая часть анализа в принципе). Здесь также наличествует в своем роде сопротивление, когда нас не отпускает впечатление, что признанность – это категория малоинтересная, что она, скорее, отсылает к каким-то суетным, факультативным предметам, что это не то, что в анализе должно происходить и чему стоит уделять внимание. Мы очень сильно ошибаемся, и, по всей видимости, идем на поводу у того же сопротивления, которое характерно для аналитиков в случае работы с навязчивостью в целом. Именно на линии признанности находятся отношения невротика навязчивости с большим Другим.

Что такое признанность? Как говорить о ней так, чтобы не впасть в заблуждения типичного этического сорта, которые заставляет говорить о соискании признания с высокомерностью как о чем-то суетном и факультативном? Не секрет, что поиск признания в некоторой довольно заметной части лакановских последователей считается исключительно утехами Воображаемого. Существует то, что можно было бы назвать «правым» или фундаменталистским лакановским анализом, – я имею в виду тех представителей лакановского анализа, которые склонны полагать, что у Лакана можно найти нечто такое, о чем писали Святые Отцы. Именно здесь, как правило, делается большой упор на суетность заигрывания с мирским, в том числе и с поиском признания, потому что можно ли представить себе что-то более мирское, более секулярное, нежели попытки добиться авторитетности и славы? В той части, где из лакановского Реального делают священного идола, принято полагать, что диалектика признания не имеет к нему отношения в принципе.

Все это вызвано влиянием на восприятие лакановской теории вещей, совершенно ей чуждых, – например, тех, что исходят из областей поиска духовности или экзистенциально-гуманистической психологии. Именно под ее влиянием возникают исследователи, эксплуатирующие учение Фрейда о черте принципа удовольствия, которая якобы отделяет предприятия по настоящему экзистенциальные и рискованные – исполнение этического долга, трансгрессию, радикальную жертву – от суетных вещей, скроенных по меркам окружающего субъекта символического поля, таких как поиск признания и борьба за авторитетность. Принято считать, что желание из этих вещей не выкроишь, поскольку им недостает чего-то Реального.

Я полагаю, что здесь перед нами опять сильнейшее сопротивление, вызванное не чем иным, как стыдом, и потому по своей натуре, как и все, авансированное стыдом, очень двусмысленное. Как правило, современный субъект стыдится признаться, что для него поиск признания имеет значение. Тем не менее на этот счет очень трудно обмануться, потому что все то, что мы видим вокруг, не просто пронизано этим поиском, но и отчетливо показывает, что движение в этом направлении вовсе не является броском в сторону принципа удовольствия. Напротив, именно там, где субъект пытается найти признание, и подстерегает его тревога. Отделяя поиск признания от тревоги, считая, что в нем субъект от поставленных тревогой вопросов уходит, мы пропускаем очень важную часть формирования невроза навязчивости, в которой поиск признания этот является тупиком, в котором невротик находится постоянно. Именно вопрос признания позволяет творчески подойти к вопросу о том, как устроен Другой обсессивного субъекта и какие манипуляции в отношении желания этого Другого невротик предпринимает.

Досконально пронаблюдав эти отношения, мы получаем возможность установить, что Другой для невротика навязчивости – это не абстрактная фигура, не просто носитель смысла, внутренний собеседник или соглядатай. Воспользоваться максимально общими лакановскими определениями здесь недостаточно – им нужно придать соответствующую специфику. Другой в неврозе навязчивости – это такая фигура, которую субъект избирает по той причине, что, как

ему кажется, она уже добила признанности и теперь обитает в каком-то ином мире, пользуясь авторитетом. В то же время специфика обсессивного отношения к Другому состоит в том, что это фигура вполне реального ближнего, какой-то знакомой субъекту персоны, за которой субъект навязчивости подозревает какое-то злоупотребление. Завидуя ее признанности, склоняясь перед ней и безоговорочно признавая ее авторитет даже в ходе нападок на нее, невротик полагает, что авторитет, которого эта фигура добила, скрывает теперь те недостатки, которые в деятельности этого Другого имеют место и которые навязчивый невротик ревниво усматривает.

Другими словами, вопрос признанности для невротика навязчивости имеет значение не там, где признанности ищет он сам. Безусловно, он ее желал бы, но добиться ее на этом пути ему мешает Другой – тот самый, с которым невротик желал бы разобраться и чьи мелкие прегрешения он намеревается миру явить. В отношении с Другим обсессик вступает не для того, чтобы добиться признания для себя – на самом деле, для него это слишком сложная задача: присущая ему прокрастинация зачастую сводит на нет все его усилия. Деятельность его активизируется там, где он обнаруживает признание, полученное кем-то другим в области, в которой он смыслит и в которой сам хотел бы подвизаться. Другой приковывает его внимание, поскольку именно на него невротик навязчивости возлагает ответственность за существование института признания как такового. Незаметным для себя образом обсессик полагает, что именно это лицо удерживает все символические стандарты в интересующей его сфере, ведь, с его точки зрения, именно оно задает тон и диктует в ней правила. Тем не менее смириться с этим невротик не может, поскольку всегда обнаруживает, что авторитетная фигура снабжена недостатками – другими словами, она действует не совсем честно и допускает промахи, невнимательность окружающих к которым для невротика подобна острому ножу – ведь если даже эта влиятельная и всеопределяющая фигура неидеальна, то что говорить о всей сфере в целом.

Вот где по существу лежит нерв невроза навязчивости, по отношению к чему все остальные действия невротика, в том числе собственно навязчивые, являются защитным образованием. Именно поэтому возникает в нем то, что наблюдал уже Фрейд: борьба между двумя противоположными душевными движениями к Другому, уважением и ненавистью.

Любопытно, что Фрейду какое-то время казалось, будто бы эти душевные движения имеют место лишь потому, что в субъекте борются противоречивые сексуальные побуждения и поэтому он склонен то наделять объект возвышенными значениями, то напротив ниспровергать его в пропасть. Другими словами, здесь не обходилось без любви. Открытие Лакана по существу заключается в том, что без любви этот механизм прекрасно обходится: Другой невротика навязчивости не интересен ни в каком ином свете, кроме того, в котором он предстает носителем в своем роде похищенного у невротика желания – то есть добивается успеха там, где невротик только-только делает пробные шаги. Поэтому там, где Фрейд все еще предстает скорее субстанционалистом, кладущим в основание субъекта бессознательное с его противоречивыми и конфликтоподобными влечениями, Лакан настаивает на том, что наличие собственной психической жизни не первично, что сама она в качестве чего-то уникального представляет собой скорее теоретический соблазн для психоаналитиков, поскольку у субъекта на деле нет того, что можно было бы назвать первичными и укорененными в нем влечениями, совокупностями катексисов, нагруженностей либидинального характера и т. д. Другими словами, субъект – это не субстанция, являющаяся для этих влечений носителем и контейнером, а нечто такое, что пробуждается к жизни в ту секунду, когда в нем вызывает возмущение желание другого.

Именно невротик навязчивости красноречиво показывает, что желание другого – это не абы какое желание, не направляющая нас надмирная воля или же абстрактная сила рынка, медиа или капитала, а нечто более чем конкретное. Это желание кого-то, кто невротика навязчивости опередил и сделал это, с его точки зрения, не вполне честными средствами. По существу, невротика интересует только это – он готов посвящать перипетиям этой истории все свое

время, даже если он себе в этом не отдает отчета или отдает его лишь частично. В его случае мы видим иллюстрацию того, что желание другого – это нечто такое, что носит глубоко обманчивый, предательский характер. По этой причине, как замечает Лакан, невротик навязчивости и ведет себя так странно – отсюда и берутся разного рода его сложные душевные побуждения и противоречивые поступки, которые аналитиками, работающими с невротиками навязчивости, совершенно верно оцениваются как защита. Что такое защита? Чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать, что наши аналитические представления о защите формировались на оси представления о травме в рамках знания об истерическом неврозе. Защита – это нечто якобы призванное заслонить субъекта от невыносимого бессознательного содержания. Содержание это может быть слишком сложным и неприятным для субъекта, для чего он и предпринимает, как казалось Фрейд, учитывающему опыт работы с истеричками, навязчивые действия. Но Лакану удастся показать, что все обстоит не совсем так и что защита, предпринимаемая обсессивным невротиком в виде мыслей и действий – это не защита от собственного промаха, как опять же предполагает Фрейд в случае работы с Человеком-крысой, а защита непосредственно от факта существования желания Другого как такового. Невротик навязчивости в этом смысле находится на довольно высоком теоретическом уровне, поскольку он имеет дело с теми же категориями, что и психоаналитик, и в своем смятении опирается не на те отдельные аффекты, которые Фрейд в этом невротике усматривал – вина, страх, тревога, – а на реальность желания как таковую. Именно с ней он никак не может справиться и именно ей адресованы все те колебания, которые он, если взглянуть в его бытие пристальнее, испытывает каждую секунду. Если истерик не знает, каким именно объектом он является для Другого и где именно он мог бы себя – в виде своего пораженного конверсионным симптомом тела – наслаждению Другого предложить, то невротик навязчивости накрепко сбит с толку теми усилиями, которые Другой предпринимает в области соискания признанности – он ощущает, что от него требуется на эти попытки отреагировать, но не может избрать никакой тактики, которая ему самому казалась бы безупречной.

Это означает, что адресованных навязчивости объяснений Фрейда оказывается не совсем достаточно. Там, где им ищется скрытое содержание симптома, он, хотя и подготавливает почву для дальнейших открытий, упускает тот факт, что невротик навязчивости имеет дело с теоретическими категориями анализа, поскольку они даны ему в психической реальности симптома. Именно по этой причине работа с ним в анализе так осложнена – парадоксальность, которая поначалу Фрейдом была оценена обратным образом: Фрейд не мог нарадоваться на то, до какой степени к теоретической стороне анализа эти невротики восприимчивы (случай человека-крысы). На деле, аналитику трудно избрать в отношении этого невроза стандартную теоретическую тактику, поскольку по отношению к невротиком навязчивости он не выступает носителем метаязыка. Те категории, которые специалист может использовать в анализе, уже являются для невротика навязчивости историей его симптома и непосредственно составляют предмет его плачевного положения.

В рамках обращения со своим большим Другим невротик навязчивости показывает, что, по существу, категория признания имеет значение именно там, где она лежит в основе сотворения желания. В нынешнее время мы, не в последнюю очередь благодаря усилиям таких мыслителей, как Фуко, Батлер и Бурдьё, привыкли мыслить признание социально-философскими средствами, усматривая за ним агентов, действующих в конкурентном поле, где они добиваются успеха и меряются достижениями, в качестве которых представляют более или менее значимую для сообщества продукцию. Другими словами, речь идет о деятельности, за которой может стоять сколько угодно амбиций, но нет желания в том смысле, в котором мы используем его в психоаналитическом смысле, – желания как отношения с предположительной нехваткой Другого. В мире, созданном для нас французскими социологами, есть множество вещей, но нет собственно того, что побуждает субъекта принимать Другого в расчет иначе как помеху,

препятствие на пути к собственному успеху. Препятствие это в теории того же Пьера Бурдьё выглядит чисто механическим – его необходимо преодолеть, как преодолевают лежащее на пути бревно.

Именно здесь существо навязчивости и упускается. С одной стороны, сам невротик навязчивости то и дело требует рассматривать его в этом ракурсе – поначалу в анализе его мир кажется крайне узким и как будто полностью находящимся на ниве соперничества с Другим, из-за которого его собственные дела якобы не клеятся. Но обманываться здесь нельзя – ни теория Бурдьё, ни Джудит Батлер, хотя они, казалось бы, довольно четко объясняют, как устроен поиск признания, не показывают, где именно находится место тревоги субъекта навязчивости. Каким бы внешне встревоженным и беспокойным этот субъект ни был, именно его ажитация не допускает выхода наружу той тревоги, которая находится в основании его симптома.

Тревога эта обнаружится не раньше, чем аналитику станет ясно, что признание, уже полученное Другим, не делает невротика навязчивости более активным и конкурентоспособным, а, напротив, его обездвиживает. Он не может сделать ни шагу, но не потому, что, как полагал еще Фрейд, он одержим завистью. Когда Фрейд исследует отношения ребенка – особенно мужского пола – с отцом, он предполагает, что в какой-то степени тот величием отца подавлен и что именно это, пробуждая в нем естественное чувство соперничества, в то же время пробуждает в нем страх кастрации, который его стагнирует и не позволяет двинуться вперед, к овладению собственной генитальностью. То, как позволяет нам на это посмотреть предварительная часть предпринятых Лаканом исследований навязчивости, полностью меняет эту картину. Невротик застывает перед своим более успешным Другим, с которым он себя тайно сравнивает – не потому, что успех того непревзойден, а, как раз напротив, по той причине, что невротик обнаруживает в нем существеннейший изъян: Другой ему кажется полностью лишенным тревоги.

Опыт этот всем нам без исключения знаком, поскольку сегодня в доступных оценке и сравнению с нами Других нет недостатка. Так, всякий раз сталкиваясь с тем, что уважаемое нами – или же, по крайней мере, формально достойное уважения лицо: преподаватель или чиновник – вдруг сообщает нечто несусветное и полностью опровергает наши представления о том профессиональном уровне, которого он однажды достиг и на котором он должен находиться, чтобы не вызывать тревоги у нас самих, мы сталкиваемся с тенью того, с чем каждый день имеет дело сформированный и выраженный невротик навязчивости. Обнаружив, что однажды взятая высота почему-то вдруг открывает дорогу для различных злоупотреблений, мы склонны роль тревоги в этом недооценивать. Когда мы смотрим на кого-то как на человека, добившегося признания, славы, почета, мы подозреваем, что никакой тревоги у него нет – иначе как бы он мог позволять себе столько очевиднейших промахов? Возмущение обсессивного субъекта по этому поводу не знает предела.

Именно здесь возникает ситуация, которая в последнее время в анализе заявляет о себе все громче и описать которую можно, только показав, как она может поддерживаться в том случае, когда анализ сопрягается с религиозными ценностями. Сопряжение это всегда имеет место: мы знаем, что, если учитывать фрейдовские корни, анализ только и может быть анализом, если он указывает на желание того, кто стоял в основании собирания народов и установления незыблемых, равных для всех правил. При этом мы недооцениваем вытекающую из этого необходимость смирения, поскольку полагаем, что речь о смирении всегда идет в усмирении желания. Желать не более и не большего, чем твой ближний, – вот что считается вытекающей из подлинной религиозности добродетелью. Тем не менее аналитический опыт и здесь показывает, что пресловутое смирение основывается на требовании совершенно иного типа: в нем никто не запрещает желать как угодно и чего угодно, но тем не менее то, что субъект считает непростительным грехом, заключается в отсутствии в желании элемента тревоги. Если чье-то желание кажется от тревоги избавленным, кара последует незамедлительно и будет выражаться именно в появлении на свет невротика навязчивости, который, невольно впадая в грех

осуждения, будет это желание настойчиво и критично преследовать. Другой в его глазах может добиться царских почестей, оказаться почти что в раю – все это, с точки зрения обсессивного субъекта, ему простительно. Но чуть только даже при самом малом наблюдаемом успехе Другого невротик не обнаружит в нем аффекта тревоги, как механизм навязчивости в виде требования восстановить справедливость и поставить Другого на место появится непременно.

Что исходя из этого можно сказать о том, что собой представляет невротик навязчивости тогда, когда удачливым и нечестивым Другим он не занят? Прежде всего, это субъект, который о своей тревоге ничего не знает. Его собственная тревога не дана ему в принципе, поскольку волнует его только наблюдаемое им отсутствие равновесия между смелыми попытками его поднадзорного Другого и скудными эмоциональными реакциями последнего по поводу этой чрезвычайной смелости.

При этом невротик навязчивости, если его невроз в достаточной степени развит, обычно идет еще дальше. Он может полагать, что успех Другого в какой-то степени им не заслужен, но возмущает его не это – волю высших сил и случая признавать он обычно способен. Главное, что тот Другой, за которым он наблюдает, реализовал действительно нечто примечательное и достойное интереса и одобрения – то, что мог бы и хотел при более благоприятных обстоятельствах реализовать и сам невротик. Поэтому раздражение невротика навязчивости находится не там, где он просто возмущен успехом более удачливого Другого и уверен, что тот успеха не заслуживает, потому что успех должен был достаться лично ему как более достойному. Ситуация гораздо сложнее и не укладывается в то, что можно было бы назвать «культурной константой», если считать, что сегодня культурная константа – это, прежде всего, соревнование экспертов в различных областях. Но эксперт никогда к своей экспертности не сводится – у него есть какое-то желание, чутко распознаваемое невротиком навязчивости и сказывающееся не столько в успехах эксперта, сколько в его промахах.

Иногда отношения с этими промахами психологи наивно называют «перерастанием». Нам объясняют, что всякий раз, когда мы разочаровываемся в некогда вызывающей наше восхищение фигуре и готовы искать другую (почему-то это обозначается наивным эвфемизмом «идти дальше», хотя никакого движения здесь нет), то происходит это потому, что мы каким-то волшебным образом переросли ее уровень. Все эти объяснения не имеют к аналитическому подходу никакого отношения, поскольку пресловутой категорией «развития» он не оперирует. Речь идет исключительно об отношениях с Другим в рамках симптома, и если говорить о симптоме обсессивном, навязчивом, то на первый план в нем выходят операции с тревогой.

Что происходит тогда, когда фигура, не просто поразившая нас своей компетенцией, но и как будто обладающая знанием, задающим этическое измерение – то есть многообещающая в области всяческой моральной и интеллектуальной добросовестности – когда эта фигура вдруг обнаруживает изъян на уровне рефлексии своего продукта? Например, там, где она рекомендует воздерживаться от какого-либо способа суждения как наивного или предосудительного, но сама допускает подобное же суждение в других областях. Или там, где Другой представляет высочайший стандарт философствования или успеха в области науки или искусства, он неожиданно допускает нечто такое, что с его позицией как будто не вяжется, – например, берет грант, происхождение которого, как мы считаем, его порочит, или делает заявления, роняющие его с ранее достигнутой высоты, которую тем не менее потерять он уже не может, потому что место за ним так или иначе закреплено. Обнаружение такого рода изъянов всегда является чем-то тревожащим, но у невротика навязчивости они вызывают настоящее возмущение – он буквально не может с этим смириться. Вся его дальнейшая деятельность на уровне требования к Другому строится именно на этом обнаружении. Эволюция, всякий раз происходящая в отношениях с этим Другим у обсессика, заключается в том, что поначалу Другой в его глазах занимает свое авторитетное место по достоинству и только потом это место начинает казаться невротнику занятым в результате злоупотребления.

Эта подмена лежит как в основании навязчивого фантазма, так и в основании фантазма современной публичной среды в целом. Всякий раз наше внимание сфокусировано на субъекте, который поначалу нам казался образцом этических, научных, эстетических и тому подобных стандартов, и вдруг выяснилось, что этим стандартам в части случаев он не соответствует. Все это, таким образом, происходит на уровне того, что Лакан называет «Я-идеалом», который подобное соответствие как раз и призван отрегулировать. Именно возле этого Я-идеала невротик навязчивости и курсирует с неустанностью этического комитета с тем лишь отличием от последнего, что он не имеет ни возможности, ни смелости вынести окончательный вердикт. В результате он мечется между двумя побуждениями – с одной стороны, он как будто уверен в фигуре, к которой прикреплен его взгляд, поскольку ее Я-идеал является также его Я-идеалом – здесь происходит то, что психология неизбирательно и неточно называет «идентификацией», подразумевая под ней всяческое согласие с позицией и методами Другого. В то же время невротик навязчивости не может не видеть, как его кумир, которого он назначает носителем собственного желания, постоянно привносит в его реализацию какую-то порчу. То, в чем навязчивый невротик обвиняет своего кумира, – это предательство, в связи с которым становится неполноценным и бытие такого невротика, что и вынуждает его причинять себе ряд психических неудобств, которые представляют собой типичные компульсивные терзания возле той или иной случайной задачи. Пройти по определенным трещинам в тротуаре или же тридцать три раза прочесть молитву «Отче наш» – все эти типичные испытания, которым невротик навязчивости себя подвергает, служат лишь тому, чтобы проверить себя на прочность перед лицом того напряжения, которому невротика навязчивости подвергает присутствие в его поле внимания Другого, предположительно со своими обязанностями не справляющегося.

Тревога этого Другого, которую тот предположительно по поводу своих огрехов должен испытывать, становится тревогой самого субъекта навязчивости. Проблема навязчивого невротика, таким образом, заключается в том, что он тревожится не своей тревогой – на место, для его собственной тревоги предназначенное, помещается та несостоявшаяся тревога, которую этот невротик силится в Другом усмотреть. Вот та новация, то неожиданное положение, к которому Лакан осторожно подводит, но прямо так и не озвучивает. Тот плотный текст, который в конце десятого семинара полностью адресовывается невротика навязчивости – а это полторы главы, где Лакан показывает, в чем именно пресловутая одержимость (*obsession*) состоит, – является текстом, в котором мы можем расшифровать те пути, по которым проходят не только формирование навязчивого симптома, но и функционирование того, что Лакан называет «тревогой» и «знанием».

Знание навязчивого невротика – это знание о промахах в целом успешного Другого. Тревога навязчивого невротика – это та тревога, которую Другой не испытывает (и поэтому в ее игнорировании повинен, в чем его невротик и упрекает), но которую он должен бы испытывать, и поэтому невротик навязчивости приносит ее дань за него. Этим его страдание и обусловлено. В этом смысле те навязчивые движения, которые он совершает, те вынужденные выборы между плохим и худшим, которые он делает, те неверные шаги, которые он предпринимает, когда спешит совершить действие и понукает себя, а потом обнаруживает, что торопиться не следовало и его поспешность вышла ему же боком, целиком и полностью указывают на присутствие Другого, который свою тревогу презрел и тем самым вынудил внимательного свидетеля его деятельности взять удар на себя.

Любопытно, что, не прибегая к помощи типичного марксистского культурализма, Лакан делает выводы о широком присутствии навязчивого симптома в современности – в том числе там, где индивидуальный анализ его обнаруживает лишь косвенно. Например, наша салонная интеллектуальная культура в области образования в самом широком смысле этого слова – что она такое, как не наблюдение за тем Другим, который поначалу выступает педагогом, водителем, гуру, но потом заставляет нас обнаружить, что высоким стандартам, о которых он гово-

рит, он соответствует не всецело? То, с чем мы никак не можем смириться, что вызывает у нас возмущение и желание раскритиковать его прилюдно, – желание, которое сегодня немедленно удовлетворяется с помощью тех же соцсетей. Чем является сегодня художественная, журналистская или, в конце концов, письменная культура, культура академии? Это всегда культура соревнования на уровне Я-идеала, базирующаяся на ожидании, что признанный сообществом субъект на уровне акта высказывания выдержит те стандарты, о которых он заявляет на уровне содержания высказанного. Перед нами тревога, связанная с тем, что существует некоторое поле признанных, которые, как нам кажется, тревоги больше не испытывают, поскольку их авторитет якобы должен придать им уверенности. По ту сторону этой уверенности, которая может показаться заносчивой и оскорбительной, но которая на деле нас поддерживает и без которой мы сами ни шагу ступить не можем, существует поле, в котором мы неспособны действовать, потому что в том месте, где должно располагаться наше прекрасное творчество, находятся лишь промахи авторитетного Другого, занимающие наше внимание и вызывающие у нас тревогу. В чем ни в коем случае нельзя обмануться, так это во владельце этой тревоги: даже если ее испытываем мы, принадлежит она все равно Другому. В поле, заданном неврозом навязчивости, расплачивается всегда не тот.

Это подсказывает нам, почему невротик навязчивости, невзирая на свою условную неанализабельность, связанную в первую очередь с тем, что в анализе он руководствуется той анальной экономикой блага, которой он вообще, как правило, руководствуется, все же в анализе стремится. С одной стороны, аналитик, как правило, невольно идет в этой экономике ему навстречу, поскольку невротик навязчивости всегда организует поле так, что отказать ему невозможно – ведь он готов платить и расплачивается, как правило, еще до того, как об оплате вообще заикнулись. Поэтому анализ навязчивости и длится так долго: продвигаясь благополучно, он тем не менее не может состояться – другими словами, как анализ он не заканчивается. Это первая причина, почему невротик навязчивости или не приходит в анализ, или, приходя, в него какое-то время не вступает, располагаясь поодаль. Аналитик при этом является для невротика навязчивости фигурой, которой он не доверяет так же, как и всем прочим, – его сопротивление не делает для аналитика никаких исключений.

В этом плане все то, что Фрейд, развивая на истерическом материале свое учение о переносе, преподнес последователям как величайшую драгоценность, оказывается в случае обсессии заведомо обесцененным. Обсессик не станет делать то, что делает классический истерический субъект: он не одарит аналитика тем невозможным и странным доверием, которое, делая истерического субъекта в анализе внешне столь несговорчивым, в то же время превращает его в рупор желаний аналитика. Напротив – и это вторая причина затруднительности анализа навязчивости – невротик навязчивости представляет собой субъекта, который, как было выше сказано, носит предчувствие знания аналитика в себе самом. Не имеет значения то, что он не в курсе тех неожиданных поворотов, которые в анализе могут произойти: важно то, что он всегда опережает любого собеседника – и аналитик вовсе не становится исключением – по меньшей мере, на один шаг. Его симптом организован не возле каких-то конкретных содержаний или травматических воспоминаний, а возле структуры субъектности как таковой. Иначе быть и не может, ведь то, что ему мешает, – это субъектность Другого, который от невротика ничем, кроме полученной признанности, не отличается.

Неудивительно, что для аналитиков, строго наследующих Фрейду даже там, где они его понимают не до конца, далеко не очевидно, что анализ мог бы как-то разрешить эту ситуацию. Поскольку аналитики не занимают метапозицию знания в отношении невроза навязчивости, как это они так или иначе делают в случае истерии и психоза, приходится признать, что навязчивый симптом вызывает у них самих сильное беспокойство. Нет другого такого пациента, который подошел бы ближе к самим опорам аналитической теории, нежели подобный невротик.

Именно поэтому данный анализ вызывает у психоаналитика особенную тревогу. После всех упреков постструктуралистской философии, потребовавшей признать, что никакого мета-языка нет и что метапозицию мы, даже обладая знанием, не занимаем, для этой метапозиции все еще открываются лазейки. Так, в случае с психотиком или, например, аутистом очевидно, что, о каком бы «равноправии» с ними специалист не заявлял, он в лучшем случае обречен на лукавство. Мета-позицию он так или иначе займет – и не только потому, что названные группы пациентов часто лишены речи или, по крайней мере, чего-то существенного в символическом, но и по той причине, что ни психотический, ни истерический субъект не приносят с собой никакого иного знания, кроме того, что намертво впечатано в их симптом.

Напротив, как уже было сказано, обсессик приносит в анализ не симптом, а отражение позиции, занимаемой самим аналитиком – он говорит, пусть и на другом уровне, о тех же вещах. Последнее не удивительно – ведь его позиция организована как картезианская. Наивность некоторых биографов Фрейда, полагавших, что последний эту позицию покинул ввиду того, что им было «открыто существование бессознательного», разбивается о тот факт, что картезианство – это не столько метафизика сознания и Эго, сколько определенным образом организованное желание. То, что именно это желание лежит глубоко в основании желания аналитика, было для Лакана очевидно. Иное дело, что разница между желанием аналитика и желанием обсессика действительно существует, но далеко не как между разными желаниями, а как между одним и тем же желанием, поначалу доаналитическим, а впоследствии тем, которое до сих пор крайне загадочно вслед за Фрейдом называют «желанием проанализированным».

Именно это предельное сходство режимов желания толкает невротика навязчивости в анализ – даже если от своих симптомов он страдает довольно слабо. Но именно она же мешает невротика навязчивости в анализ войти: ведь войти в анализ означает поступиться своей речью. Но речь у обсессика всегда есть. Она у него в избытке, в отличие от истерички или психотика. Он переговорит кого угодно.

Будет уместно задаться здесь вопросом, для чего невротика навязчивости необходим анализ. Стоит отметить при этом, что все те приведенные выше резоны, которые показывают, что анализ для него скорее избыточен, могут быть при малейшем изменении угла зрения обращены в необходимость анализ ему рекомендовать – ведь невротик навязчивости, будучи в своем роде аналитиком стихийным, прекрасно замечает, что он говорит слишком много. Это вызывает у него неудобство – даже без каких-либо намеков со стороны аналитика он чувствует, что его речи чего-то не хватает и что у нее есть какое-то внешнее измерение, ему самому недоступное, но сказывающееся на этой речи фатально. В какой-то степени анализ как практика, по существу, и создан для анализа навязчивости, и Фрейд это, конечно же, подозревал. Невроз навязчивости приковывал его особое внимание, он оставлял в отношении него такие замечания, каких он никогда не делал по поводу истерических случаев. Сегодня мы, опираясь на Лакана, видим, что анализ не является чем-то, что должно было бы симптом невротика навязчивости проанализировать. Симптом невротика навязчивости еще до всякого анализа выполняет ту самую функцию, о которой говорил Лакан, требуя для симптома права преобразоваться и лечь в основу бытия-с-наслаждением.

Последнее не означает никаких райских куш и говорит лишь о том, что разрешение симптома в анализе представляет собой его переход от страдания особенного, являющегося специально отработанным доступом к прибавочному наслаждению, к чему-то, что поставит вопрос наслаждения на всеобщую символическую основу. Если ранний, открытый в фрейдовском анализе симптом представляет собой нечто выразительно болезненное, бросающееся в глаза и не совпадающее с субъектом в целом – как например, соматическая конверсия у истерички или фобия у носителя тревожного симптома, – то в случае навязчивости симптоматология уже расположена на уровне субъектной структуры. Строго говоря, это и есть определение симптома: место сращения бытия с наслаждением. Если это бытие-с-наслаждением, собственно, и будет

разрешением невроза, то несомненно бросается в глаза то, что навязчивый субъект еще до входа в анализ обладает по крайней мере карикатурой на нечто такое, что должно быть из него выходом.

Что, в таком случае, отделяет тот усложненный и в то же время однотипный способ обхождения с наслаждением, который невротик навязчивости кропотливо вырабатывает в течение всей жизни, от того, что должно получиться в результате анализа? Очевидно, что близость обсессика к позиции аналитика – близость настолько интимная, что аналитику порой просто трудно ее вынести, – тем не менее показывает кардинальное различие в том, к чему идеально подходит в качестве ключа именно вопрос соискания авторитета и признанности.

Вопрос этот отсылает к возможности посмотреть на анализ в той оптике, в которой на него смотрит Лакан. Именно эта оптика подводит его к тому, что анализ не представляет собой ни сотрудничество с субъектом, ни поддержку здоровой части Я. Напротив, анализ является тем, что представляет субъекту пример признанности иного типа. По всей видимости, именно здесь находится место аналитической тревоги, о которой выше было сказано, что она мешает аналитикам заниматься невротиками навязчивости – по крайней мере, в теории – и побуждает их искать другие симптомы, экстравагантность которых занимает их почти полностью. Невротика навязчивости, конечно, берут в анализ – не взять его туда просто не представляется возможным, поскольку он всегда найдет лазейку, – но с привносимым им в анализ знанием не работают теоретически и не уделяют его осмыслению достаточно времени. Навязчивость не кажется специалистам тем, к чему анализ должен прилагать достаточное количество усилий: осмысление невроза навязчивости представляет собой для аналитика дисциплину скорее факультативную, и это при том, что дело обстоит не так, будто аналитик может им заниматься или не заниматься, как в случае психоза.

Другим словами, тот же психоз для аналитической повестки является подлинно факультативным предметом (в точном смысле латинского происхождения этого слова, означающего не «необязательность», как привыкли считать, а именно «возможность»). Как раз потому он так привлекателен для специалистов и способен как войти в моду, так из нее и выйти. Напротив, обсессивный невроз, при всей его ненавязчивости в области практики и внешней нетребовательности навязчивого субъекта в анализе, не является предметом, который аналитик мог бы отложить, подождя, не произойдет ли в нем что-либо само собой. Другими словами, невроз навязчивости не является всего лишь одним из предметов приложения психоанализа. Структура навязчивости заходит и на аналитическую территорию, она касается психоаналитика и его подхода в целом. В какой-то степени сам психоанализ как дисциплина представляет собой преобразованный и проработанный Фрейдом исход того положения, в котором находится субъект современности. Субъект этот, как мы знаем, испытывает неудобство, «неудовлетворенность культурой», и она, как Фрейд показывает в этой работе, в области сексуальности носит черты обсессивного расщепления: то любовное томление, в которое временами субъект впадает, неспособно найти свою разрядку в подобающем ему сексуальном отправлении.

В этом плане анализ не прилагается к неврозу навязчивости как одному из предметов его метода, а по существу из него вырастает и к нему же должен возвратиться. Это не мешает нам заниматься психозом или аутизмом. Речь лишь идет о том, что навязчивость находится на уровне анализа в принципе – она вложена в аналитический дискурс, чего не происходит ни с истерией, ни с позицией неговорящего аутиста, ни с позицией бредящего психотика.

В этом отношении вопрос признанности касается аналитика напрямую, ибо кому как не аналитику надлежит эту альтернативную признанность невротика навязчивости предложить? В мирке обсессивного субъекта изначально существует только один Другой, добившийся признания, но в то же время допускающий злоупотребления и промахи, по причине чего навязчивый невротик хотел бы в голос выкрикнуть, что этот Другой разоблачен, что ему надлежит сойти со своего места или, по крайней мере, принести извинения, поскольку его признанность

держится, скорее, общими заслугами, заданный которыми уровень этот Другой не выдерживает. В случае анализа невротик навязчивости сталкивается с Другим совершенно для него неожиданным, поскольку аналитик представляет собой субъекта, который не обязан ни науке, ни академии, ни каким-либо иным сферам, где борются за признанность в политике или в медиа. Тем самым в глазах невротика навязчивости он является фигурой, которая, не будучи авторитета совершенно лишена, при этом представляет собой то, что можно было бы назвать субъектностью иного сорта. Эта субъектность также порождает соответствующую инстанцию признанности, спорить с реальностью которой невротик навязчивости не может, но в то же время он не способен указать ни на одно действие, которое поиск этой признанности и следующую за ней тревогу бы подтверждало.

Это важный момент, поскольку однозначно говорить, что аналитик совершенно не ищет признания, совершенно бесполезно. Известно, что с одной стороны аналитики склонны держаться инклюзивно, образуя своего рода тайный орден, в который не так легко пробраться, поскольку анализ нечасто выходит на публику и не склонен на ее суждения опираться. Но в то же время невозможно не заметить, что в этой инклюзивности наличествует противоречие с позицией Фрейда, который выступал на публике постоянно и искал признания для новоизобретенной им дисциплины именно через открытые публичные лекции. Известно, что это касается и Лакана: его семинар до самого конца оставался институцией совершенно открытой для посещения. И Фрейд, и Лакан, что бы там ни говорили и как бы ни указывали на их бескорыстие и погруженность в дело анализа, тем не менее были субъектами публичной признанности. Они добивались признания, тем самым вызывая зависть и другие рессентиментные аффекты современников именно по той причине, что их признание было всеобщим фактом. Именно по этой причине возникает вопрос, как это вообще вяжется с аналитической деятельностью.

Лакану даже удачнее, чем Фрейду, – по причинам, которые можно проследить в его текстах, а также в биографии, – удалось показать, что аналитик может быть публичной фигурой, читающей лекции и выходящей на сцену, вызывая тем самым чувство соперничества и, казалось бы, будоража в окружающих субъектах их навязчивый симптом, сопряженный с тревогой по поводу возможности получить признание. Тем не менее в положении Лакана как аналитика – даже в виде публичного лица – была важная особенность, которая полностью видоизменяла обычный сценарий транзита этой тревоги от признанного лица к его обсессивному наблюдателю. Предъявляя знание, аналитик не претендует на признанность в той структуре, где она отмечена символическим знаком экспертности. Будет ли эта признанность выражена в какой-нибудь диссертации или благословении каких-либо высших инстанций и преуспевающих основателей профессии, так или иначе, все это имеет основу, которая выступает ее «символической меркой». Другими словами, это означающее.

Как мы знаем, в случае аналитика никакого означающего нет. На его месте, в том дискурсе, который Лакан предлагает в семинаре «Изнанка психоанализа», находится объект *a*. Тем самым Лакан заостряет то широко известное обстоятельство, что каждый аналитик является для своего анализанта чем-то одинаково потусторонним и при этом совершенно неопределенным, независимо от его светских публичных заслуг. Другими словами, он признан, но эту признанность не измерить – она не конвертируется в эквивалент символического. Если любая признанность ученого, политика, художника или спортсмена, конвертируется в какие-либо другие символы и находит свое место во всеобщей иерархии чинов, упразднение которых в истории нисколько их не отменило, то с аналитиком этого не происходит – на его месте своего рода тупик символического. В анализ можно прийти только за определенными вещами, и ни одна из них со всеобщей признанностью не имеет никакого дела. Бесплезно апеллировать к аналитику как к субъекту авторитетному, ибо он нигде не авторитетен, кроме разве что своего крайне узкого сообщества, и то не всегда, как это произошло в случае Лакана, который, растеряв авторитет в среде классических аналитиков, приобрел его в совершенно другом месте, не

получавшем никакого определения вплоть до официального возникновения его собственной школы, объявление о которой ничего по сути не изменило.

Именно потому, что аналитик не обладает авторитетностью в пространстве научной или иной экспертной публичности, он представляет место, где вопрос о признанности ставится в совершенно иных координатах. По этой причине аналитик и может представлять для субъекта навязчивости интерес – более того, никто, кроме субъекта навязчивости, не способен эту опцию аналитического места оценить в должной степени. Мы знаем, что обсессика гонит в анализ то, что своими отношениями с большим Другим он порядком изможден. Даже если подоплека этих отношений для него неочевидна – а так, как правило, и случается, – он все равно находится в них каждую секунду, принимая их при этом за отношения с собственной субъектностью. Иными словами, не видя Другого, не осознавая, из какого места тот наделяется могуществом самим же невротиком, невротик принимает за него самого себя.

Именно это обуславливают ту высочайшую степень рефлексивности, картину которой этот субъект представляет: его способность постоянно наблюдать за собой и давать себе в своих действиях критический самоотчет поразительна и не раз представлялась со стороны чем-то чудесным. Есть в культуре такие области, где этой способностью неплохо можно воспользоваться и даже сколотить на ней символический капитал – например, в области литературы, предоставляющей для рефлексивного повествования очень благодарную почву. Но, с чисто аналитической точки зрения, данная способность является не чем иным, как подменой собой Другого в Воображаемом.

Подмена эта совершается достаточно легко, поскольку нигде в прибегании к ней невротик навязчивости не обнаруживает никаких препятствий. Его нагруженный тревогой Другого Идеал Я, на котором все обсессивные игры с признанностью и строятся, позволяет ему занимать место предположительного Другого с той же легкостью, с которой он спекулирует на функции этого идеала в целом, претендуя на роль независимого и бесстрастного наблюдателя тех процессов, которые на деле полностью обусловлены проявляемой им тревогой. Мерка, которой невротик навязчивости измеряет наблюдаемые им поступки своих близких, всегда ищет себе подтверждения извне, но реализуется при этом лишь в воображаемом самонаблюдении, где все критерии наиболее строги. Судя Другого за их нарушение и подчеркнуто забывая, что эти критерии именно от Другого он и почерпнул, невротик навязчивости воображает, что он способен на роль Другого сам – именно эта особенность отмечает его симптом характерным и неповторимым своеобразием, которое замечают все, так или иначе с этими невротиками сталкивающиеся.

По этой причине не психотерапевт и не врач, признанность которых вполне конвертируется в другие эквивалентные символические значения, а именно психоаналитик может быть для навязчивого невротика фигурой столь же притягательной, сколь и неподконтрольной. То, что у аналитика нет никакой признанности, кроме того знания, которым он как аналитик обладает, ставит субъекта в положение, где его адресованное Другому требование буквально повисает в воздухе.

Следует оценить мудрость Фрейда, оставившего нам в наследство то, что обычно называют сеттингом – сводом формальных правил организационного взаимодействия с анализантами. Поначалу сеттинг сам по себе может казаться сводом почти что навязчивых, анально скрупулезных предписаний относительно времени, характера взаимодействий и дистанции, которую необходимо с анализантом удерживать. До определенной степени так и есть – собственная навязчивость Фрейда несомненно наложила на правила ведения практики некий анальный отпечаток. Но именно здесь – хотя бы в силу того, что речь как-никак идет о власти аналитика делать из своей навязчивости закон на уровне аналитического желания – открывается способ с навязчивостью как раз таки порвать. Достигается это уже тем, что в анализе невротик навязчивости вынужденно вступает в совершенно новые для его симптома отношения

со временем. Если, предоставленный сам себе, он спонтанно и в любое подходящее ему время вступает в привычную для него роль придирчивого критика, имеющего дело с промахами Другого в символическом, в анализе ему в согласии с расписанием приема приходится косвенно признать, что для критики, как и для ее отсутствия, есть определенные часы. Поскольку аналитик не представляет собой Другого в том смысле, в котором невротик навязчивости обычно имеет с ним дело, столкнувшись с сеттингом, субъект в анализе волей-неволей уясняет, что его собственное время, отведенное для счетов с Другим, также может быть нормировано – нередкие замечания на тему того, что сеттинг представляет собой некое сообщение со стороны аналитика, верны, но редко раскрывается, в каком именно смысле.

Все свои предписания Фрейд адресует именно тому, кто в анализе хотел бы занять позицию, отличную от позиции специалиста. Перед нами различие не только организационное, но и структурное. Сама эстетика анализа подсказывает, что аналитик не является специалистом-профессионалом: тот комически-почтительный ореол, который часто аналитика окружает, как раз и является защитой от конвертирования его действий в анализе в экономику признания – ту самую, которая является для невротика навязчивости тяжким бременем. С аналитиком бессмысленно соперничать – даже если у него есть тревога, для анализанта благодаря сеттингу она остается недоступной и неусвояемой.

Все это означает изменение в анализе того направления, по которому в случае невроза навязчивости циркулируют тревога и знание. Иногда об этом говорят как о «контейнеризации», понимая под этим способность аналитика выносить исходящий от анализантов натиск и отказ отвечать на него аналогично, но для описанной Лаканом аналитической ситуации это совершенно излишний термин. Дело не в том, что способен вынести и присвоить аналитик, а в том, от чего удастся отказаться обсессиву. Не имея в анализе необходимости собирать о Другом сведения и присваивать его тревогу, невротик навязчивости получает возможность совершить другую операцию, которую Лакан называет «разделением тревоги», возможностью отдать ее вместо того, чтобы присваивать.

Речь, разумеется, идет не о том, что в анализе можно поделиться всем тем, что в другой ситуации субъект оставляет потаенным. Известно, что в большинстве случаев речь идет не о темнейшей стороне сексуального опыта, не о затаенной травме, но лишь о том, что окружающим покажется неуместными и странными пустяками – и тем не менее это именно то, что невротик навязчивости не может никому, кроме аналитика, сообщить. Однако, совершая это, к разделению тревоги анализант не переходит. Более того, пока ему есть что сказать – пока он находится в той фазе, где ему необходимо аналитика переубедить, заручиться его взглядом, – операция эта от него закрыта. Тем не менее по мере того, как анализ все больше выбивает у субъекта навязчивости почву из-под ног – чем более обнажается тот способ, которым этот субъект привык со знанием, украденным у Другого, обходиться, тем более проясняется его «желание удержать» не только те объекты и намерения, которые он накапливает и прокрастинирует в больших количествах, но и собственно тревогу Другого, которой навязчивый невротик так негуманно себя обременил.

Подобная возможность всегда остается своего рода обещанием, шансом, чем-то не гарантированным, но тем не менее если и есть позиция в пространстве, на которой невротик навязчивости мог бы почувствовать себя не на коне и быть вынужденным с него спешиться, то это ситуация анализа. Именно этого в ходе анализа и необходимо добиваться.

Чтобы эта возможность оказалась доступна, необходимо всегда иметь в виду вышеупомянутую сращенность позиции аналитика со знанием невротика навязчивости. Дело не только в том – хотя это важно и часто недооценивается, – что анализ не до конца свободен от тех пороков и страстей, которые носят на своих волнах невротика навязчивости. В анализе, на его профессиональном поле, тоже есть место соперничеству и там всегда близки к той же операции, посредством которой невротик навязчивости прикрепляется к Другому, выискивая его

недостатки. Более того, хорошо известно, что эта черта свойственна аналитикам в своем кругу гораздо резче, нежели в кругах иных специалистов, способность которых измерить признанность друг друга понятными символическими лекалами до определенной степени держит их тревогу в узде. Тревога аналитиков по поводу друг друга оказывается в разы сильнее; соответственно, сильнее и та ревнивость, которая им свойственна – черта, удивляющая случайно столкнувшегося с ней независимого наблюдателя, наводящая его на мысли о недостаточной проанализированности многих заметных в аналитическом поле известных фигур. На деле, речь идет именно о тревоге. Полагать, что эта тревога может быть преодолена повторным анализом или неусыпным контролем супервизоров, по меньшей мере наивно – ведь такой контроль еще сильнее прикрепляет аналитика к его месту и, стало быть, может вести только к усилению связанных с ним эффектов.

Именно поэтому, будучи не в силах эту тревогу выносить, аналитики, вопреки фрейдовской беспечности в этих вопросах, стремятся выработать в своей среде нечто такое, что напоминало бы специальный институт. В анализе имеют место разные символические статусы, связанные с требованиями к аналитику, – это может быть соответствующее образование или формальное членство – все то, чего Фрейд старался по возможности избегать. Другое дело, что он ничего не предложил своим адептам взамен, так что инструменты борьбы с тревогой им пришлось изобретать самостоятельно. По всей видимости, полностью избежать всего этого невозможно, и требовать этого не следует. Когда настаивают на чистоте позиции аналитика как на том, что некоторые последователи Лакана называют «чистотой аналитического желания» (есть даже специальный термин, который обозначает нечто такое, что в анализе не подвержено никаким посторонним наслоениям, ведущим во внеаналитическую область), здесь до известной степени лукавят. На практике так дело не обстоит, поскольку анализ, как и любая другая публичная деятельность, со своей закулисной изнанки предстает как предмет неустанной внутренней борьбы: существуют различные выяснения относительно того, какая организация является более достойной для вынесения вердикта о способности аналитика вести анализ. Все эти черты, какое бы разочарование они нам ни несли, лишь подкрепляют нашу собственную обсессивную позицию, из которой мы по какой-то причине считаем, что аналитик должен быть идеальным – то есть полностью лишенным побуждений такого рода.

Напротив, все то, что желание самого первого аналитика принесло в образованную им дисциплину, следует считать неустранимым. Известно – и это вовсе не порочащий его факт, – что признанности он желал более, чем чего бы то ни было другого, и уже по этой причине даже не самые амбициозные психоаналитики в своей среде ведут себя так же, как навязчивые субъекты. Другое дело, что это не касается того, что Фрейд называет ситуацией анализа. Поэтому Фрейдом с такой бережностью и были прописаны соответствующие правила поведения в аналитической ситуации, хотя сам он, как хорошо известно, никогда не был образцом ангельской терпимости, равно как и его ученики, которые благополучно перессорились, не дожидаясь его смерти.

Именно Фрейд впервые указал на то, что существует определенное место, которое можно очертить речью аналитика. Это место того самого соперничества, поиска большого Другого, который в наших глазах согрешил и поэтому будет вечно перед нами искупать свою вину. При этом в ситуации анализа можно найти другой дискурс, другое место для речи. Если невозможно полностью и навсегда избавиться от этих игр с изъясном Другого, то возможно по крайней мере начать с другого места.

Поиск места становится в клинике навязчивости вопросом кардинальной важности, и происходит это потому, что невротик навязчивости в момент прихода в анализ всегда обнаруживает себя уже в соперничестве, которого сам он как будто не начинал: он не знает, как все случилось. Ему известно лишь то, что Другой дал своей деятельностью какие-то обещания и не выполнил их, потому что о них в тот момент даже не подозревал. Самому невроту он

ничего не должен. Тем не менее от молчаливых претензий со стороны последнего его это не освобождает.

Именно в анализе возникает шанс вернуться на какой-то другой уровень, где это соперничество в его символической значимости инициировано самим невротиком. Чем больше исходящий от него соблазн спровоцировать аналитика, тем ярче высветится то, что история, в которой он как будто бы не принимал участия и в которой обвинял Другого, адресована не только ему, но и всем тем, кто как будто занял пассивную позицию по отношению к творимым Другим бесчинствам. То, чего невротик навязчивости требует, – это прежде всего огласки этих бесчинств.

Все это не исключает того, что самым сокровенным желанием невротика навязчивости является занятие позиции, где он участия не принимает, – позиции, традиционно называемой позицией наблюдателя. Позицию эту принято критиковать как, во-первых, недоступную, а, во-вторых, слишком удобную – шизофренический характер некоторых образчиков постструктуралистской критики метафизики здесь становится очевиден. На деле, адресованный этой позиции этический упрек, несомненно почерпнутый из декоративного немецкого экзистенциализма, несправедлив, поскольку эта позиция, само желание ее занимать, ввергает его обсессика череду невротических страданий, о которых более или менее подробно написано в этой книге. В частности, это страдание, связанное с очень распространенным сегодня паническим синдромом с дереализацией, которым, как это ни странно, мы обязаны Декарту и той субъектности, которую он привнес на европейскую сцену.

Это означает, что какой бы драгоценной позиция невротика навязчивости для него самого ни была – позиция, в которой он не уступает и хочет уйти неповрежденным, унеся свое Благо с собой как то, что ему удалось урвать, – он неизбежно уносит вместе с этим тревогу Другого, потому что Благо без тревоги взять невозможно. Тем не менее он раз за разом предпринимает вылазку, потому что она дает ему иллюзию, будто он является субъектом какой-то активности, где этический закон исходит от него, а вовсе не от того Другого, на которого он возлагает ответственность.

Все это должно в анализе подвергаться исследованию и рассмотрению – как на уровне собственно работы с невротиком навязчивости, так и на уровне теории анализа. По всей видимости то, что мы получили в наследство от Фрейда, безусловно оказывается неисчерпанным и ни в коем случае не бесполезным. Но при этом оно требует переформирования на базе того, что предложил Лакан, при том что предложил он это переформирование очень давно и удивительным образом остался не услышанным. По существу, в области изучения невроза навязчивости мы и сегодня по большей части находимся в старых, еще долакановских координатах – не потому, что сказанного Лаканом недостаточно, но по той причине, что его концептно и по случаю записанная теория символических отношений невротика навязчивости с его Другим получила внимание совершенно факультативное. Даже само понятие желания аналитика, которое развивается носителями лакановской традиции в примечательном духе чистоты и незатронутости, похоже, также носит в себе координаты того самого, о чем Фрейд говорил применительно к истерии, указывая на производимую в ней операцию отрицания. Чем более на чистоте и незапятнанности желания аналитика настаивают, тем более на первый план выходит аналитическая тревога.

Тревога эта несомненно обязана тому, что чистота этого желания не означает так называемой «нейтральности аналитика», за призраком которой безуспешно гнались еще фрейдистские специалисты. Очевидно, что желание аналитика не безгрешно с точки зрения аффекта: ему тоже присущ соблазн показать свою позицию в отношении наслаждения, от чего последователи Лакана почему-то в определенный момент начали предостерегать – как будто желание аналитика, даже будучи чем-то особым, не является тем не менее желанием со всеми присутствующими ему признаками в виде нехватки. Эта удивительная ситуация непризнания реальности

аналитической тревоги должна найти какое-то разрешение, потому что она явным образом заводит психоаналитиков в теоретический тупик.

В ситуации, где неврозу навязчивости Лакан из всего своего наследия напрямую уделяет совсем немного времени, существует возможность не только развить его положения, но и сделать вывод о том, насколько близка ситуация навязчивости делу анализа в целом. В obsessions заключено содержание, которое впоследствии может быть плодотворно наложено на лакановскую систему с тем чтобы показать, каким образом она предлагает анализ, адресованный субъекту, имеющему не просто страдание симптоматическое, но страдание, которое Жак-Ален Миллер правильно определяет как тупик на уровне структурного устройства субъектности в целом. То есть анализ, по существу – и Лакан выводит его на эти рубежи – должен быть предназначен для работы не с симптомом, а собственно с позицией субъекта навязчивости в отношении наслаждения и знания. Для такого рода работы в лакановском тексте находятся все основания. При этом необходимо произвести определенную теоретическую работу, которая позволила бы их выявить и положить в основание анализа в целом. Для такого рода работы есть все предпосылки, и, если она не производится, это означает, что в самой аналитической практике здесь наличествует тревога и сопротивление. Аналитик в целом не бежит невроза навязчивости, но то, что Альтюссер называл теоретической практикой, устроено в его работе так, что данный невроз не выходит в ней на первый план.

Известно, что чем более спорное место профессия аналитика занимает в современном мире, тем более сильное давление она претерпевает как со стороны государственных структур, так и со стороны амбиций самих аналитиков, которые не могут избежать того, что прочитывается ими как требование. Именно это является наиболее слабым местом аналитической практики, поскольку известно, что требование звучит тем сильнее, чем более поврежденный субъект за ним стоит. Именно это толкает анализ в работу с субъектами, чье состояние выступает как наиболее нарушенное: они могут быть отмечены психозом или аутичны, и само их предположительное страдание дает специалисту опору, устраняя аналитическую тревогу, связанную с тем, что аналитик ощущает себя не занятым делом – другими словами, безработным. Устранить связанное с этим состоянием напряжение можно только включившись в проработку наиболее заметных случаев – так и появляется аналитическое стремление работать на переднем крае психопатологии, добиваясь успеха или, по крайней мере, участвуя в разрешении характерных для нее проблем. При этом невротик навязчивости остается фигурой крайне скромной, не выдвигающей к аналитику никаких требований и не предъявляющей никакой означающей стигмы. Бытие невротика навязчивости не помечено означающим симптома в принципе. Такого рода невротики не представляют собой яркую нозологическую группу, как аутичные или, гораздо ранее, истеричные субъекты – момент, который поначалу ускользнул от Фрейда, но впоследствии раскрылся для него со стороны совершенно новой. Навязчивый симптом, даже доставляя разнообразные неудобства невротнику, не помечает своего носителя как субъекта нехватки, требующей специального и профильного внимания. Именно по данной причине тем настоятельнее работа с его случаем, поскольку она ставит аналитика в ту позицию, которая пристала ему со стороны этической – там, где анализ является деятельностью, не представляющей для аналитика никакого интереса со стороны ответа на требование. Если психоанализ как практика начинается с деятельности, отмеченной сомнительностью особого рода – с работы с истеричками, которые попали в медицинский оборот из-за любопытства врачей, а после и аналитических светил к их симптому, – то обсессивный невротик приходит в анализ совершенно добровольно, но в то же самое время не демонстрируя никакого грубого страдания и довольствуясь исключительно вниманием со стороны аналитика к своему бытию как таковому.

Помимо этического выигрыша, приносимого аналитику подобной работой, несомненен и тот теоретический выигрыш, который она может сулить. Исходившие от Фрейда просьбы не оставлять без внимания структуры навязчивости до сих пор не воспринимаются как нечто

серьезное. Тем не менее если сегодня и возможно продвижение анализа именно в теоретическом плане, со времен Лакана заметно застопорившееся, то оно может быть достигнуто исключительно на базе изучения навязчивой структуры. Именно эта структура является платформой, на которой можно расставить лакановский инструментарий и укрепить его в том опыте клинической подготовленности, который анализ демонстрирует.

Когда мы читаем Лакана, то в первую очередь кажется, что его теория обширна и из нее можно черпать бесконечно. Другими словами, невозможно себе представить ситуацию, в которой лакановский анализ потерял бы свое значение. Но мы являемся свидетелями тому, как его значение рассеивается, с одной стороны уходя в прикладную сторону и становясь услугой современного искусства, а с другой замыкаясь в закрытую структуру тех, кто все еще готов этим анализом заниматься.

Есть ли у невроза навязчивости потенции к такому же сплачиванию адресованных ему теоретических усилий, как у психоза? Мы знаем, что в этом плане сегодня функция психоза несомненна. Тем не менее голоса аналитиков, утверждающих, что именно на базе психоза ожидается прорыв в изучении субъектности, в некоторой степени звучат как рационализация – при всей своей поучительности психоз не представляет собой сцену, где желание царит во всей своей обыденности и при этом оставалось бы малоизученным, невзирая на повсеместную распространенность. Невозможность вывести анализ из истока иного желания, нежели фрейдовского – желания, которому так и не был поставлен диагноз, поскольку невроз навязчивости не является заболеванием, но представляет собой субъектную структуру во всех ее перипетиях – должна свидетельствовать в пользу необходимости иметь дело с этим неврозом как с основной материей психоаналитического исследования.

Введение

Невроз навязчивости как продукт аналитической мысли

Невроз навязчивости сегодня является местом пропуска, слепым пятном психоаналитической мысли. Будучи чрезвычайно близок к тому, что кажется сегодня чуть ли не естественным психическим состоянием субъекта, он не отличается обилием современных теоретических вложений. Особенность его состоит в том, что он присутствует в психоаналитическом знании как бы по умолчанию: большая часть новейших теоретических ресурсов психоанализа отозваны за его пределы – он чрезвычайно редко становится поводом для обсуждений. Этому способствует наличие смещения, легшего в основу теории классического анализа поскольку, вопреки расхожим представлениям о том, что мысль самого Фрейда основывалась на аналитике другого невроза – истерического – на деле именно навязчивость была основным источником для разработки мышления психоаналитического образца.

Напрямую Фрейд говорит об этом нечасто – тем не менее, есть строки, в которых его позиция относительно этого факта выражена совершенно бескомпромиссно:

Оценка навязчивого мышления... принесла бы чрезвычайно ценные результаты и способствовала бы нашему пониманию сущности сознательного и бессознательного больше, чем изучение истерии и гипнотических явлений. Было бы крайне желательно, чтобы философы и психологи, которые понаслышке или исходя из своих общепринятых определений развивают остроумные учения о бессознательном, получили сначала важнейшее впечатление от явлений навязчивого мышления; этого можно было бы чуть ли не требовать, не будь такой способ работы гораздо более трудоемким, чем тот, что освоен ими.¹

Помимо проистекающих из этого отрывка важных следствий, сказанное в нем звучит так, как будто Фрейд уже предвидел то невнимание, которого после него будет удостаиваться навязчивый невроз не только в клинической, но и в более широкой интеллектуальной среде, включая почти полное отсутствие интереса к нему и со стороны упомянутого Фрейдом философского сообщества. Более того, Фрейд как будто предугадывал, до какой степени после изобретения психоанализа именно философская мысль вторичным образом будет оказывать влияние на клинику, возвращая ей то, что сама же почерпнула из нее ранее, при этом по-своему расставляя акценты. На фоне нынешнего клинического культа психозов, в который внесли вклад сначала философствующие литераторы и который после превратился в чрезвычайно привлекательный пункт и отдушину для клиницистов, скромная просьба Фрейда для начала уделить внимание обсессивному неврозу выглядит прозрением в отношении соблазнов, которым впоследствии будет подвержен психоанализ.

Соблазны эти не так уж многообразны, но интересно в них то, что все они как будто с умыслом обходят невроз навязчивости стороной: пик раннего интереса к истерии сменяется в постфрейдовской истории вспышкой очарованности психозами; между двумя этими интеллектуальными маниями находит приют и свою толику внимания перверсия – и только навязчивость остается рядовым и скромным клиническим феноменом, пользуясь репутацией самого исследованного и самоочевидного расстройств.

Все это ведет к тому, что любое упоминание навязчивости создает ложное впечатление, будто невроз навязчивости представляет собой нечто рутинное и разработанное настолько хорошо, что в его отношении можно рекомендовать только изучать стандартную матчасть. Это впечатление усиливается, когда лекторы, читающие курс истории психоанализа, невольно

¹ Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости // Навязчивость, паранойя и перверсия. М., 2006, с. 88.

представляют дело так, будто бы с самого начала формирования аналитической клиники навязчивый невроз конкурирует с истерическим расстройством, не в силах при этом сравниться с ним ни в блеске проявлений, ни в показательности случаев.

Тем не менее, искать подтверждение тому, что во всем фрейдовском предприятии с самого начала укоренена именно obsессия и что именно она, а не яркая шаль истерии, определяет путь, по которому начиная с Фрейда движется изучение невротической структуры, можно не только в прямых указаниях Фрейда, но и в том характере, который носит любое аналитическое учение при условии, что оно ставит Фрейда в центр. Это становится заметно в тот момент, когда теорию Фрейда понадобилось поднимать из обломков, на которые она перманентно распадалась еще при его жизни. Занявшийся этим Жак Лакан впервые совершил в отношении obsессии прорыв, который во многом остался незамеченным в том числе и по той причине, что на новационности сказанного на этот счет Лакан никогда не настаивал.

В то же время последствия лакановского предприятия в области невроза навязчивости шире, чем обычно считается. Невзирая на то, что навязчивости в лакановских «Семинарах» специально посвящены лишь отдельные эпизоды его высказываний, невозможно не увидеть, что все первичные гипотезы лакановского анализа выполнены в obsессивном регистре и именно в нем получают клинический смысл. Вся тщательно прописанная ранним Лаканом история гегелевского поиска признания со стороны Другого, которого со всем упорством и безнадежностью добивается субъект – это, несомненно, obsессивная история, равно как и знаменитая концепция прибавочного наслаждения, как будто бы созданная для того, чтобы объяснить психические приоритеты именно невротика навязчивости. Все перипетии фантазма, в котором благодаря работе введенного Лаканом в клиническую теорию объекта *a* господствует бухгалтерия навязчивости, и, самое главное, лакановская модель траектории влечения, рассчитанная на то, что субъект совершает в отношении объекта набег с извлечением косвенной награды, указывают на то, что именно невроз навязчивости является распорядителем того, что Фрейд называл «судьбой влечений» и что субъект обречен на obsессию, как говорили в эпоху Фрейда, «конституционным образом» – посредством предрасположенности, которая является в своем роде трансцендентальной по отношению к прочим вариантам психического развития.

Фрейд это видел в полной мере и именно поэтому, описывая клиническую картину obsессивно-компульсивного расстройства, делает замечания следующего характера:

В начале моих исследований мне пришлось предположить другое, более общее происхождение неуверенности у больных неврозом навязчивости, которое, казалось, ближе прилегает к норме.²

Необходимо понимать эту фразу как можно более принципиальным образом: дело не только в том, что многие действия, выполняемые при неврозе навязчивости, представляют собой заострение обычных поведенческих и психических черт любого субъекта – хотя это бросается в глаза в первую очередь, и в свое наблюдение Фрейд вкладывает в том числе и этот первый и очевидный смысл. Но дальнейшее углубление этого соображения ведет именно в ту сторону, в которую впоследствии уходит Лакан: само желание субъекта вместе с его психическим аппаратом функционирует в экономике, ближайшим аналогом которой является obsессивность. Последняя коррелирует с самим устройством субъекта, и в этом смысле симптоматика невроза навязчивости представляет собой не поломку изначально свободного от нее состояния, а превращенную материализацию структурных соотношений в устройстве бессознательного. Материализация эта сопровождается усугублениями и сгущениями, которые местами приводят к нарушению дистанции между отдельными структурами и к искажению характера их связи, но, тем не менее, даже в этих случаях невроз навязчивости продолжает указывать на свое происхождение из базовых психических структур субъекта.

² Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости, с. 98.

Все это уже само по себе позволяет отвести, наконец, неврозу навязчивости то место, которого он заслуживает. Вопрос лишь в том, достаточным ли будет на этом остановиться. Даже если последовать за мыслью Фрейда и более пристально рассматривать обсессивную клинику как своеобразную модель психического аппарата, мы в лучшем случае останемся на уровне психологии, чего фрейдовская теория на деле не заслуживает, хотя бы даже в определенный момент сам Фрейд вполне этим удовлетворился. По мере того как психоаналитическая мысль отделялась от метафизики как «науки тела», она постепенно оставляла иллюзии, приносимые тем позитивистским взглядом на происхождение невроза, в окружении которого она формировалась. В то же время может показаться, что именно этот взгляд то и дело прорывается в тексте Фрейда – особенно тогда, когда ему приходится заговаривать с публикой напрямую:

Проблема, каким образом и почему человек может заболеть неврозом, несомненно, относится к тем вопросам, на которые должен дать ответ психоанализ. Однако вполне вероятно, что этот ответ можно будет дать только по поводу другой и более частной проблемы – проблемы, почему тот или этот человек должен заболеть именно этим определенным неврозом и никаким другим. В этом состоит проблема выбора невроза. Что мы знаем в настоящее время об этой проблеме?³

Отрывок этот характеризуется обманчивой понятностью, поскольку, как мы сегодня знаем, вопрос «происхождения невроза» является вопросом, в котором меньше всего имеет смысл полагаться на то, что философы фрейдовской эпохи называли «психической данностью», глубоко таинственным образом связанной с чем-то органическим. Речь идет не о конституционной физиологической или какой-либо иной подобной предрасположенности. Невроз – это то, что уже в риторике Фрейда помечается как «судьба», но судьба, предрасположение к которой укоренено не в тех материях индивидуального развития, с которыми имеет дело врач. В этом смысле постановка вопроса «о выборе невроза», как безо всяких экивоков формулирует это Фрейд, при всей внешней прямолинейности исключительно удачна, поскольку речь по существу идет о выборе, который совершает сам психоаналитик. Вопрос о том, что это за выбор, не может быть рассмотрен до тех пор пока акт этого выбора у специалистов все еще ассоциируется с тесной, до сих пор не прерванной связью психоанализа с медицинским подходом – связи, изначально носившей профессионально-нарциссический характер. Связь эту так и не смогли до конца разорвать лакановские замечания о шутовском характере, на который обречен аналитик, если он воспринимает свой предмет так же, как воспринимает его медик.

В свете исторической реальности этого аналитического выбора следует спросить: действительно ли невроз навязчивости был с самого начала обречен на то, чтобы поначалу соседствовать с истерией, при этом четко удерживаясь на своей нозологической половине, а после уступить популярную сцену другим, более интересующим широкую публику расстройствам?

Такая форма вопроса позволяет запросить клиническую историю психоанализа с позиции, на которую достаточно редко встают исследователи и которая еще реже становится поводом для описания взаимодействия аналитика с этими основными расстройствами, хотя именно эта позиция и является для психоанализа внутрианалитической, в отличие от подхода, для которого клинические проявления имеют самостоятельное нозологическое значение. Позиция эта должна рассматривать исторический подъем и упадок каждого из больших душевных расстройств в свете того, что Лакан называет «желанием аналитика». Речь идет не о «личном бессознательном» того, кто ведет анализ, а о предрасположенности, в силу которой сама теория психоанализа является результатом дискурса определенного типа. В этот дискурс, как и в любой дискурс вообще, особым образом вписана возможность реализации влечения через знание – в данном случае, это знание аналитика, большая часть которого, что характерно для

³ Фрейд З. Предрасположение к неврозу навязчивости. Проблема выбора невроза. // Навязчивость, паранойя и перверсия. М., 2006., с. 109.

знания вообще в том виде, в котором его существование застал Фрейд, является бессознательным.

В этом дискурсе все то, что для специалистов врачебного профиля является психической данностью, получает дополнительное значение. Истерия, навязчивый невроз или психоз больше не являются фактами нозологической реальности, по отношению к которым анализ предназначен для их изучения и корректировки. Их реальность находится совершенно в ином месте – там, где желание аналитика принимает определенную форму, предрекающую ход, который анализ примет. Именно это желание и находится за спиной у той воображаемой фигуры психоаналитика, ради которой анализант в свой анализ приходит.

Этому процессу как раз и обязано хорошо известное лакановское наблюдение, согласно которому, невзирая на физиологическую зримость того же большого истерического расстройства, истерический субъект, будучи знаменитым персонажем ранней клинической сцены, по сути вызван к жизни эффектом переноса.⁴ При этом Лакан отмахивается от расхожего мнения относительно того, что перенос вызван пресловутой «нейтральностью» анализирующей фигуры, о которую желание пациента, направленное на врача, разбивается как о мраморную статую. Напротив, в основе предполагаемого бесстрастия аналитика лежит аналитическое желание, которое смещает фокус аффекта, при этом отнюдь не устраняя его полностью. Именно это подразумевается, когда Фрейд недвусмысленно заявляет, что истерическому субъекту необходимо «отказывать в удовлетворении».⁵ Если такого рода отказ и приписывается внешней бесстрастности специалиста, то результаты его далеки от успокоительного влияния. Отказывать в удовлетворении – означает дополнительно усиливать и воссоздавать истеризацию, делая ее таким образом аналитическим и анализируемым фактом.

Тем не менее, отказ не является мерой, которая фигурировала бы в речи Фрейда в режиме чистого предписания. С одной стороны, Фрейд действительно постоянно берет рекомендательный тон, что заставляло многие поколения аналитиков думать, будто речь идет об описании приема, об элементах аналитической техники. При этом упускался из виду тот факт, что речь также идет о желании аналитика как желании самого Фрейда – о причине, побуждавшей его отвечать отказом там, где у анализируемого субъекта заявляли о себе позывы наслаждения. Фрейд не был в отношении этого полностью бессознателен – он прекрасно умел объяснить, почему этим позывам уступать не следует и какими негативными и разрушительными для того же анализа эффектами это чревато, но сама эффективность данного приема указывает, что без глубинного *желания отказывать* здесь не обошлось.

По этой причине именно в желании аналитика и возникают факторы, оформляющие невроз и делающие его тем, что он есть. В этом смысле не будет ни фигурой речи, ни слишком вольным допущением сказать, что невроз создается в том месте, где нехватка аналитика, его отношение к проявляемому пациентом желанию, встречается с неудовлетворенностью субъекта, создавая то, что соответствует так называемой «психической реальности невротического конфликта» чисто условно. Если мы не отказываемся от врачебных именовании невротических расстройств, то лишь по той причине, что и за врачами неаналитического профиля вполне

⁴ «То, что аналитик в качестве аналитического опыта проводит в жизнь – это истеризация дискурса. Другими словами, это создание искусственных условий для возникновения дискурса истерика». Лакан Ж. Семинары. Т.17. «Изнанка психоанализа». М., 2008, с. 36

⁵ «Я также уже дал понять, что аналитическая техника наказывает врачу не давать нуждающейся в любви пациентке требуемого удовлетворения. Лечение должно проводиться в условиях абстиненции». То, что Фрейд говорит в дальнейшем, является по всей видимости его собственной рационализацией теоретического порядка: «Я хочу выдвинуть принцип, что у больных нужно сохранять потребность и страстное желание в качестве сил, побуждающих к работе и изменению, и надо остерегаться успокаивать их суррогатами. Ведь ничего другого, кроме суррогатов, предложить и нельзя, поскольку больная вследствие своего состояния, пока не устранены ее вытеснения, получить настоящее удовлетворение не способна». [Фрейд З. (1915 [1914]) Заметки о любви-переносе // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. Дополнительный том. Сочинения по технике лечения. М., 2008, с. 227.]

можно подозревать то же самое желание, в столкновении с которым самые известные неврозы обрели свой окончательный исторический облик.

Речь, таким образом, идет о процедуре, которая должна в наибольшей степени интересоваться не врача или психолога, а скорее критического историка или современного философа, для которого вопрос «учреждения» или «воспроизводства» явления сегодня стоит на первом месте. Тем не менее, статус этого учреждения невроза через инстанцию желания психоаналитика остается довольно темным не только для условного «профана» – ничуть не больше ясности относительно него у той же философии, если мы при этом допускаем, что его понимают сами психоаналитики.

Определить его в первом приближении можно только отрицательным образом, не позволив ему смешиваться с теми формами «творения реальности», которые современная философия закрепила за реальностью социального типа, изучая роль того, что называется «конституирующим», или «учреждающим дискурсом». Речь идет обо всех современных допущениях «конструирования реальности» как формирования явлений социальной жизни через практики, большая часть которых представлена закрепившимися способами высказывания. Все это – особенно в силу существующей традиции сугубо философского толкования того же психоанализа – недостаточно четко отделено от той причины, по которой о дискурсе и об инстанции высказывания порой говорит сам психоаналитик. В том числе в этом следует видеть причину, по которой психоанализ так легко возникает в философских текстах, развивающих фрейдовские или лакановские концепты, но не чувствующих себя обязанными рассматривать их именно как особого рода практику.

Это небезразлично для нынешнего положения психоаналитической практики, поскольку в рамках именно философского знания понять формулу «сотворения невротика» можно только, говоря или о мимесисе или же о том, что называют сегодня «перформативностью». При этом первым способом воспрещает оперировать сам Фрейд – это вытекает из того, что миметический характер воссоздания невроза имеет хождение только в среде анализируемых субъектов и не подразумевает вмешательства аналитика – способ, которым в описании Фрейда девушки заражались от своей товарки, истерические припадки которой давали ей преимущество.⁶ Способ этот, таким образом, является доаналитическим, и его приходится сразу же отбросить.

При этом все еще сохраняется второй, более изящный метод объяснения, предлагающий взгляд, настаивавший на первичности языковых практик в воссоздании того, что иногда условно называют «миром». Теория, описывающая такую возможность, появляется на философской сцене в форме переработанной теории речевых актов в которой господствует процедура так называемого *перформатива*. Последний наделяется способностью назначать и трансформировать символическую реальность посредством практик обозначения и высказывания. Речь идет о сотворении, забегающем вперед; именно в этом состоит позиция активиста, как фигуры, у которой с «реальностью» всегда свои счета.

В тоже время опасность мышления посредством *перформативного сотворения* заключается в том, что при малейшем неверном шаге здесь легко сползти на уровень пресловутой «свободы воли» – этого мусорного со всех точек зрения метафизического концепта, который тем не менее, отбросить труднее всего. Постоянное смешение речевого акта с уровнем волеизъявляющего сознания – пожалуй, самая фатальная и самая крупная предубежденность, которая проистекает из любого активизма.

⁶ «Если, например, девушка в пансионе получает от тайного возлюбленного письмо, вызывающее ее ревность, и она реагирует на него истерическим припадком, то с несколькими из ее подруг, которые знают о письме, тоже случится этот припадок, и, как следствие, как мы говорим, психической инфекции. Это – механизм идентификации на почве желания или возможности переместить себя в данное положение. Другие тоже хотели бы иметь тайную любовную связь и под влиянием сознания виновности соглашаются и на связанное с этим страдание. Было бы неправильно утверждать, что они усваивают симптом из сочувствия». Фрейд З. «Психология масс и анализ человеческого Я» // З. Фрейд. «Я и Оно» М., 2002, с. 545.

Так или иначе, «символическое конструирование реальности» кажется удобным решением – оно избавляет философию от точащей ее вины по поводу необходимости решить вызывающий тревогу вопрос отношений субъекта с реальностью. Тем не менее, данное решение, идеально подошедшее, например, представителям философии современного искусства, мало-пригодно для понимания того, что происходит в психоаналитической плоскости, хотя в ее рамках после Лакана речь также идет именно об *акте*. Любые попытки привить аналитический акт к акционизму любого сорта дезавуируют то, что в психоаналитическом вмешательстве происходит. Аналитики, как правило, подозревают об этом, но у них нет политической позиции, с которой можно было бы осуществить полноценное размежевание с социально-критической философской мыслью, не говоря уже о том, что такого рода отмежевание было бы политическим действием, которое – в этом и состоит особенность аналитического дискурса – не будучи психоанализу совсем противопоказано, тем не менее не является для психоаналитика мерилom активности как таковой.

Подводя итоги в терминах того же философского жаргона, аналитический дискурс, в котором невроз получает именование и форму, не миметичен, но в то же время не перформативен. Во всяком случае, его продукцией не является то, что можно было бы назвать «новой реальностью». Психоаналитику, если он придерживается линии Фрейда, в наименьшей мере свойственна солидарность с тем, что претерпевший влияние лакановского учения политический активизм называет «субверсией» или «перформативным переозначиванием символического».⁷ Все, что аналитический акт производит в отношении невроза, лежит в направлении не созидательного производства и не властного (пере)именования, а *соблазнения на уровне желания Другого*, в котором наименование расстройства выявляет не реальность невротической или психотической симптоматики, а желание того, кто в анализе находится. Речь идет о моменте, о котором даже лояльные Фрейду аналитики часто забывают, как забывают они и о том, что проявленное таким образом желание структурно опережает их собственное и что не пациент желает желанием аналитика, как часто по ряду причин полагают, а, напротив, аналитик находится в зоне, где невротическое желание субъекта само себя благополучно, не без посредства аналитика, увенчивает успехом.

По существу единственной особенностью, отличающей позицию аналитика от позиции современного философа или активиста, состоит отправление этой позиции из того начального факта, что из данной зоны ему никуда не двинуться. Именно признание этого факта – а вовсе не его учреждение – представляет собой то единственное, что хоть сколько-то в аналитической деятельности напоминает собой т. н. «решение» или «акт аналитического вмешательства». В этом смысле на активиста, вступающего с реальностью в отношения, напоминающие отношения настойчивого рыцаря с прекрасной дамой, аналитик похож менее всего. Тем не менее, аналитическое желание участвует в происходящем в области клиники, и следствием этого как раз и является появление психоаналитической теории, которая служит не объяснением этого желания, а его репрезентацией, представлением.

У этого желания есть довольно отчетливые контуры, которые позволяют говорить о том, что «выбор невроза» в анализе уже произошел. Так, в случае истерического невроза желание аналитика заключается в желании знать, что истеричка скрывает. Именно это и вызывает к жизни ту характерную механику обращения с истерическим неврозом, в которую с головой поначалу бросился Фрейд и которая привела в итоге с одной стороны к бурному развитию его теории, а с другой ко всем тем, хорошо известным, специфическим злоупотреблениям, которые были характерны для его выводов о природе истерического страдания. Сегодня ни у кого нет сомнений, что в ходе этих выводов Фрейд слишком часто забегал вперед. В то же время

⁷ Основной работой, закрепившей подобный подход, является классическое произведение Джудит Батлер «Гендерное беспокойство»: *Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, 1990.

именно его желание наложило отпечаток на характер развития его размышлений о бессознательном, в котором каждая большая гипотеза, объясняющая его устройство, в итоге оказывалась слишком «сильной» и по этой причине должна была быть позднее скорректирована или заменена. Это забегающее вперед движение также носило следы истерического желания, которое побуждает желание аналитика обнаруживать готовность потерпеть неудачу ценой той или иной яркой гипотезы – желание в своем роде погибнуть как автор на глазах у строгого читателя.

Каким образом с аналогичной позиции можно рассмотреть невроз навязчивости? Какой отпечаток желание аналитика, направленное на невротика этого типа, наложило на развитие фрейдовской теории в целом?

Ответ на этот вопрос осложнен тем фактом, что истерическое желание, представляясь – точнее, будучи желаемым представляясь – бурным и драматичным, без труда нашло выражение в методологии психоаналитического подхода. Можно заметить, что аналитик лишен в отношении истерии какого бы то ни было сопротивления на теоретическом уровне: он заблуждается в своих гипотезах, но делает это вместе с истерическим субъектом. Невроз навязчивости же допускается в клинический дискурс на совсем иных основаниях: лишенный драматизации, хорошо и подробно описанный в медицинской литературе, он выглядит до такой степени проработанным, что какое-либо самодеятельное вмешательство здесь на первый взгляд просто исключено. Характерно, что если описание истерии в клинической литературе является пластичным, – вплоть до того, что говорят даже об «эпохальном изменении» картины истерического невроза, хотя сама истерическая позиция при этом, как известно, никуда не исчезает – то подача невроза навязчивости остается примерно в одинаковом положении: его симптоматика не изменяется со временем, и вместе с этим не претерпевает особых изменений ее описание.

Данный факт необходимо рассматривать не как проявление клинической устойчивости данного невроза, а как нечто, непосредственно обязанное особенностям желания навязчивого типа: оно на первый взгляд не требует от аналитика особых подвигов, но не подает ему руки, заводя его в то же время в ловушку самообмана. Не случайно Лакан иронически называл анализ навязчивого невротика «медовым месяцем для психоаналитика». Усмешка несомненно обязана тому, что так кажется только поначалу. Высокая степень рефлексивности навязчивого субъекта, его внешняя «самокритичность», его готовность следовать за указаниями аналитика, контрастирующая с независимой и сопротивляющейся позицией истерического субъекта, – все это поначалу обманывает того, кто надеется найти в обсессии союзника анализу.

На деле именно навязчивый невроз оказывается наиболее сильным средством соблазнения в аналитике чего-то такого, что относится не к желанию выманить на свет скрытый объект, а к рубежам, на которые психоаналитик то и дело отступает ввиду того, что само по себе удержание аналитической позиции, как мы знаем от Лакана, является невыполнимой задачей. Если истерический невроз и вызвал к жизни некоторые, говоря современным языком, неполиткорректные решения Фрейда, которые в ряде случаев приводили к резкому концу лечения и которые сам он впоследствии в полной мере готов был рассматривать как свои фатальные ошибки, то невроз навязчивости, никогда не сбивая аналитика с ног, тем не менее побуждает его делать тысячу уступок и впадать в непрерывную череду малых заблуждений, через которые и движется подобный анализ.

Так, зачастую вместо того, чтобы вмешиваться посредством переноса в отношения навязчивого невротика с его Благом – в основном, анального характера – аналитик то и дело невольно начинает эти отношения поддерживать. Уступая рассудительности такого анализанта, его рационализациям, его *обучаемости* и всегдашней готовности увидеть «свой анализ» со стороны, аналитик то и дело незаметно для себя теряет нить, и аналитический процесс провисает как бечева воздушного змея в мертвой зоне. Если в ходе анализа истерического невроза сообщаемое анализанту часто носит невыносимый для последнего характер, – что снова указывает на желание аналитика в свете истерической позиции, в которой истерическое отрица-

ние вызывает со стороны аналитика подмеченный Лаканом андроцентричный, фаллический напор, который призван запереть преодолеть – то в случае невроза навязчивости аналитик всегда ищет компромиссы, вовлекаясь в ту экономику, из которой сам навязчивый невроз и вышел – экономику обменов и выдвижения условий, которая по существу является основой конструкции обсессивного субъекта.

В сеть этих компромиссов аналитик и попадает в том случае, если оказывается не подготовлен или подготовлен лишь со стороны узко клинической. Именно по этой причине невроз навязчивости является бессознательным самого аналитика и, шире, бессознательным психоаналитической теории в целом. Если истерия позволяет сделать вывод о самом наличии желания аналитика, побуждая его предъявить свое влечение к объекту, скрываемому истеричкой, напрямую, то невроз навязчивости играет совершенно иную роль – он говорит о том, что изначально вытеснено за пределы самого психоаналитического знания. Именно в этом смысле он является логически «вторичным» по отношению к истерии. Вторичность эта, таким образом, носит внутренний для самой позиции аналитика характер, не связанный ни с частотой распространения данного типа невроза в популяции ни с историей медицинской науки.

Это является одной из главных причин того двусмысленного положения, которое навязчивый невроз занимает в аналитической истории, где ему так и не удается выйти на первый план в облике, который не содержал бы в себе черты теоретического формализма. Риторика, в которой о неврозе навязчивости ведут речь после Фрейда, является не столько психоаналитической, сколько нейтрально-врачебной – в ней больше констатации, чем эвристичности. Эта маргинализация обсессии резко контрастирует с двумя соседствующими крупными нозологическими единицами – истерией и психозом – которые в разное время подверглись активной «философской депатологизации» и получили культурно-политическую значимость, а вместе с ней и частичку активистской доблести.

За честь невроза навязчивости охотников побиться не нашлось, и это может означать только то, что он затрагивает позицию аналитика гораздо глубже и сильнее, нежели соседствующие расстройства. Исследованию, таким образом, подлежит сама эта затронутость, поскольку именно она, по всей видимости, создает область, которая в желании аналитика соответствует работе с неврозом навязчивости.

Глава 1

О началах субъекта навязчивости

Стандартная психоаналитическая пропедевтика обычно начинает с перечисления существующих видов невротических расстройств как равноценных – невроз навязчивости в этом списке обычно следует за истерией и предстает в качестве ее альтернативы – субъект обречен в своем неврозе следовать путем совершенно определенным. Это отвечает замыслу Фрейда, который с самого начала сопротивлялся искусительной возможности представить нечто вроде комплексного невротического расстройства. Навязчивость нигде с истерией не смешивается и представляет собой совершенно отдельный тип патологической структуры.

Тем не менее, это не означает, что для навязчивого невроза здесь сделано все возможное и потенция его обособления исчерпана. Даже самое тщательное различие этих двух базовых невротических предрасположенностей не защищает их от генерализации на медицинской почве. Навязчивость в ней предстает таким же симптоматическим комплексом как эпилепсия или паркинсонизм – оптика, которой Фрейд временами не избегает и которая была в определенной степени нужна ему для того, чтобы не покинуть пределы врачебного знания.

При этом он сам более других оказался заинтересован в том, чтобы от этих, в первую очередь стилистических пределов медицинского дискурса отказаться. Все, что Фрейд проделывал в отношении своего предмета, доказывало, что, невзирая на изъявления лояльности медицинскому дискурсу, историю своего предмета он пишет заново, и в этом смысле все учебно-экзаменационные стереотипы в подаче тематики неврозов лишь сковывают его продвижение. Это снова особенно ярко сказывается именно в случае невроза навязчивости: так, если ту же истерию охотно используют как доказательство существования нервных расстройств, будто бы сопровождающих общество на всем протяжении его истории – пресловутый *hysterus* авторы медицинских учебников стереотипно возводят еще к античности – то невроз навязчивости сопротивляется подобному внеисторическому безразличию. С точки зрения психоаналитического подхода это делает его более достоверным и благодарным объектом исследования – даже не говоря этого напрямую, Фрейд не мог не оценить ту свободу, которой он располагал, изучая историю расстройства, становление которого вершилось буквально на его собственных глазах.

При этом авторы медицинского происхождения уделяют много внимания вопросам анамнеза обсессивного невроза, но при этом обходят, как лежащий вне их интересов, вопрос о происхождении самих структур навязчивости. Психоанализ поначалу, ввиду преобладания у его истоков медицинской основы, оказывается в точно таком же положении, хотя оно и вызывало у Фрейда смущение совершенно особого плана, заставив его совершать хорошо известные нападки на психиатрию.⁸ Тем не менее, сам Фрейд по всей видимости не пользовался в полной мере теми средствами, которые могло бы дать ему размежевание на базе психоаналитического дискурса – на это указывает в том числе некоторое смещение, запаздывание психоаналитической инициативы относительно себя же самой.

Запаздывание это, тем не менее, преодолевается в тот момент, когда психоанализ вступает в определенные отношения с философским знанием. Эти отношения также организованы довольно сложно: для начала анализу пришлось отвергнуть вялые измышления философов о предметах, будто бы близких к теме бессознательного, чтобы потом, выдержав своего рода карантинный период, вернуться на философскую территорию совсем с другими требованиями, классическим примером которых остаются знаменитые «*Ответы*» из 17-ого лаканов-

⁸ Наиболее концентрированно представлены в работе: Фрейд З. Общая теория неврозов. 16-ая лекция. Психоанализ и психиатрия. // Введение в психоанализ. СПб., 1999.

ского семинара.⁹ Требования эти были сформулированы так афористично, что они и сегодня не находят понимания в профессиональной среде – в те моменты, когда Лакан предъявил их практически напрямую, его слова не вызвали у читателей ничего, кроме глубокого шока.

Тем не менее, именно благодаря тому, что эти требования прозвучали, возникает возможность снова заговорить о происхождении невротического образования, присутствие которого в психической жизни субъекта до сих пор вызывает у дискурса медицинской науки желание говорить о них как о «расстройствах», хотя, как замечал уже Фрейд, нет ни малейших оснований использовать в их отношении терминологию, принадлежащую традиционному спектру здоровья и болезни. Точно так же склонность преподносить все в рамках псевдодialeктической системы отношений индивида с окружающей его средой, обнаруживает все более нарастающую неспособность говорить о неврозе иначе как о дефекте развития, носящем защитно-приспособительный характер – в этой двусмысленной дилемме, где роль здоровья берет на себя сама болезнь, и находятся медицинские воззрения.

Все это подталкивает к убеждению, что происхождение невроза навязчивости, который все больше обнаруживает себя как господствующее невротическое состояние современности, необходимо искать в сферах, куда, как справедливо замечал Фрейд, рассуждение врача никогда не заходит. Не заходит туда, впрочем, и мышление социолога – второй фигуры, к которой перешло ведомство рассмотрений и оценок после того, как медик уступил свое место на арене производства знания социальному критику.

Точно такого же рассмотрения достойны прочие синдромы и состояния, с которыми субъект столкнулся неожиданно и сравнительно недавно, будучи не в состоянии в то же время понять, откуда они взялись. Состояния эти находятся в центре внимания многочисленных материалов на психологическую тематику – агорафобии, панические атаки, деперсонализации и дереализации. У объяснений, которые этим сенсациям адресуются, есть нечто общее: все они пропитаны стихийным антропологизмом и подаются не иначе как с глобальным историческим размахом. Винят при этом, как правило, «современность», которая таким образом выступает в роли кризиса цивилизационного масштаба, своего рода тестирования предельных психических возможностей субъекта. Гипотеза, будто бы этот кризис предъявляет к ментальной выносливости требования, выдержать напор которых субъект не в состоянии, отчего и впадает в невроз, по существу ничем не подтверждена, но при этом остается популярной, а ссылка на современные медиа и технологии, приводящие человечество в столь плачевное состояние, является чуть ли не официальной версией происходящего.

При этом нет никаких доказательств существования каких-либо нагрузок или скоростей, которые могут оказаться для субъекта чрезмерными. У Фрейда, во всяком случае, на это нет ни намека – риторика каких-либо «нервных перегрузок», которой уже тогда злоупотребляли отдельные врачи, была ему не свойственна; для описания субъекта, столкнувшегося с симптомами подобного типа, Фрейду вполне хватало концепта «тревоги» (Angst). Тем не менее, после Фрейда и его первых учеников, более-менее твердо державшихся его экономной риторики, не терпящей лишних понятий, все подобные состояния полностью перешли под ведомство психотерапии разных видов, мастей и языков, чему немало способствовало то, что сам Фрейд, как известно, оставил эту базовую тревогу без объекта.

Восполнить вызывающую, оставленную Фрейдом нишу можно было только полностью оставив медицинский дискурс со всеми его смысловыми последствиями – и движение в сторону от них происходит не ранее, чем для расставания с ними появились, как выражаются марксистские исследователи, необходимые предпосылки. Сегодня, после лакановского вмешательства, прежние ссылки на «темперамент» или «характер» звучат так же экзотично как и ссылки на «врожденную конституцию». Тем не менее, медицинская оптика до конца не пре-

⁹ Имеется в виду «Разговор на ступенях Пантеона» // Ж. Лакан. Семинары. Т. 17. Изнанка психоанализа. М., 2008.

одолена, постольку на ее место так и не заступил до конца другой способ тематизации невротического. По существу, в практическом психоанализе постмедикалистская эпоха так и не наступила – аналитики, даже невзирая на известное лакановское заявление, что «анализ не лечит», все равно рассматривают себя попутчиками, сподвижниками врача. Это положение сохраняется даже там, где работы Лакана являются приоритетными и где есть все основания для опоры на них.

Начатое Лаканом размежевание на основе обозначенного им «дискурса психоаналитика», таким образом, не завершено, и фактически можно утверждать, что для него на текущий момент едва ли подготовлены основные пути. Тем не менее, двусмысленное сотрудничество с дискурсом медицины становится для психоанализа все более тягостным, а ложность его положения со временем усиливается.

В то же время это не означает, что, разорвав с «врачебным делом», психоанализу необходимо вернуться к «философии» или «философской мысли», поскольку дискурс, который представляет эту мысль, также не является аналитическим. Фактически, он не оставляет психоанализу места – и это происходит даже в тех случаях, когда современные философы пишут о психоанализе или используют элементы его теории.

Происходит так потому, что философский дискурс – это высказывание о субъекте, отношения которого с тем, что психоанализ называет «знанием», организованы как призыв обратиться к этому знанию свое желание. Это не означает, что в этом он тождественен дискурсу научному – речь в философском высказывании не идет о «новом знании». Тем не менее, предполагается, что знание, которое ищет философ, каким-то образом затерто, отсутствует в кругу публичного высказывания – например, прикрыто ходом повседневности или потребительской иллюзией. Требование философии, таким образом, заключается в призыве освободить для этого знания место в речи.

Именно это делает дискурс философии непсихоаналитичным – а вовсе не то, что он «абстрактен» и не соприкасается с непосредственным личным опытом субъекта. Психоаналитический дискурс точно так же не имеет к этому опыту непосредственного отношения – именно здесь разного рода экзистенциальные психотерапии, сделавшие на психоанализ свою ставку, сбиваются с пути, настойчиво и бесплодно требуя от анализа того, что не является его продуктом в принципе.

Психоаналитическое высказывание не предлагает знания и не создает его. При этом оно имеет тот же предмет, что и философия – не в том смысле, что оно занимается условиями постижения действительности или формированием этической повестки. Для психоаналитического подхода важностью обладают последствия того, что философия предъявляет в качестве «знания» – последствия вызванных таким образом философией изменений в позиции субъекта. Все это имеет значение, поскольку, как намекает лакановский подход, искать исток невротизации современного типа, сопровождающегося пришествием субъекта навязчивости, психоанализу предстоит именно здесь.

Крупнейшее философское событие, сформировавшее этот исток, у всех на слуху – это пресловутый картезианский переворот. Сказано о нем в разных источниках очень много, но эти высказывания, тем не менее, в целом остаются в рамках одного и того же дискурса. Даже в том случае, когда достижение Декарта сегодня опровергается в пользу какой-либо «другой субъектности» или ее отсутствия, мы все еще имеем дело с философским мышлением – в текстах такого рода, возможно, меняется содержание и политическая позиция, но не меняется установка относительно «знания» – то есть, позиция собственно акта высказывания. По этой причине, невзирая на общепризнанную масштабность картезианского события, существует такие его следствия, которые даже и сегодня остаются недоступны для оценки. Тем не менее, они касаются всех, и философия всегда об этом подозревала, по умолчанию предполагая, что после этого переворота существование субъекта никогда уже не будет прежним.

С точки зрения философии субъект, благодаря этому перевороту, встает в позицию, где его новоприобретенное философское Я становится, как верно заметили анархисты, сделавшие из этого единственно возможные выводы, его «собственностью». В период, подготовивший возникновение психоанализа, когда все же выяснилось, что субъект владеет собой не слишком хорошо и что его Я всей картины происходящего не исчерпывает, эта убежденность была поколеблена, но лишь как неудавшееся притязание. Обвинение картезианского субъекта в слишком большом куше власти, который он вознамерился сорвать – вот основное настроение периода постколониалистского разочарования, если свести к двум словам его программу – или, точнее, движущий им аффект. При этом уверенность в том, что кое-что в этой области субъекту все же удалось заполучить, остается незыблемой, и ее подтверждением служат те разнообразные обломки прежнего философского величия, во взаимоотношениях с которыми субъект сегодня никак не может определиться.

Так это выглядит со стороны современной философии, выражающей по поводу картезианского кутежа свое возмущение, и по этой причине то, что в совокупности она производит в последнее время, особенно в областях затронутых марксизмом, не вызвало бы у Фрейда никаких диагностических затруднений. Более того, еще в дофрейдовский период этот продукт уже был назван по имени – это рессентимент, вина, сопровождаемая подавляемым возмущением. Поскольку вина как известно в психоаналитической перспективе противоречит стыду, отправление ее закономерно носит бесстыдный характер, о чем Лакан прямо и в то же время трудно постижимо для привыкшего к философии читателя и говорит в самом актуальном, полностью посвященном проблеме современности, единственном в своем роде семинаре «Изнанка психоанализа».¹⁰

При этом еще ранее, шаг за шагом, начиная с самых первых лекционных циклов Лакан корректирует и заменяет привычное значение картезианского свершения, одновременно возвращая тем самым и фрейдовскому начинанию тот смысл, который был перетолкован и утрачен в пользу представления о Фрейде как о самом амбициозном картезианце современности. Весь лакановский проект – это возражение расхожему мнению, представившему Фрейда в качестве рыцаря, стоящего на границе освещенной лучами осознанности территории, отделенной от мрака неприсвоенной субъектом инстинктивности. Представление о соотношении сознания и бессознательного как тени и света, привнесенное именно философами, само по себе увело в тень реальные последствия картезианского переворота.

По этой причине лакановское вмешательство не сводится, как порой считают, к снятию акцента с инстанции Я и переносу внимания на бессознательное, получившее таким образом статус новой структурированной осмысленности. Смысл лакановского обращения к Декарту в ином – лакановская психоаналитическая пропедевтика показывает, что грамматика картезианского заявления создает в субъекте зону новой тревоги. Именно картезианская программа ответственна за появление бессознательного в известном нам сегодня облике. Картезианское Я, в отличие от того, что о нем думают, само по себе бессознательно – во всяком случае, бессознательны все основные последствия его самоутверждения. Тревога, которую в европейском субъекте пробудило его же собственное, произнесенное устами Декарта, высказывание, пошла на образование бессознательного, определив его структуру и сделав шаг в сторону создания предпосылки для того, что в аналитической оптике в дальнейшем получит наименование «симптома».

Подобный взгляд противоречит воззрениям философской современности и позволяет разорвать с представлением, окружающим фрейдовский анализ и полагающим, что бессознательное является чем-то сродни мифу, родовому преданию, пришедшему к нам из досовременных обществ и якобы заглушенному самоуверенной картезианской речью. Речь эта у Лакана

¹⁰ Лакан Ж. Семинары. Т. 17. «Изнанка психоанализа». М., 2008. Глава XIII «Власть невозможного», с. 228–246.

перестает выступать неким заблуждением, морок которого необходимо с себя сбросить – мнение, к которому часто склоняются самые разнообразные интеллектуальные движения ближайшей современности, критикующие картезианство как историческое недоразумение, которое можно подвергнуть коррекции в том числе с помощью упора на ту или иную концепцию бессознательного. Вопреки этому, прибегнув к каламбуру можно сказать, что Декарт, думая, что создает сознательного субъекта, создал субъекта бессознательного как субъекта желания, устроенного совершенно особым образом.

Все это резко меняет привычную оптику – в том числе и ту, с точки зрения которой философы и критики современного общества рассматривали, использовали и популяризировали учение о бессознательном. Увидеть ограниченность этого использования – означает приступить к созданию другого подхода и другого дискурса, который задействует психоаналитическую мысль в ее наиболее неразработанных после Фрейда аспектах. В первую очередь это касается феномена невротизации, поскольку мысль промарксистской направленности уже выразила свое мнение о происхождении этих состояний. Типичное объяснение у всех на слуху и сводится к повреждающему влиянию общества капиталистического производства и потребления, которое приводит к нарастанию изолированности индивида, росту тревоги и развитию внутреннего конфликта. В этой оптике психоанализ предстает паллиативным подходом, который не только ничего не способен поделать в отношении этого положения, но и со своей стороны усиливает его тем, что подкрепляет изоляцию посредством индивидуальной работы и аналитического сеттинга, воспроизводящего отчужденные отношения меркантильного общества.

Слабейший пункт этой рабочей гипотезы, которую, как правило, рассматривают как нечто аксиоматическое, состоит в локализации места тревоги. По существу, даваемое философами объяснение ее происхождения оказывается внепсихоаналитическим. Приписывать причину тревоги внешним обстоятельствам, – какими бы могущественными и фатальными они ни были, – означает выпадать из мира понятий, созданного Фрейдом, в котором источником тревоги должно являться нечто *внутреннее*. При этом, говоря о «внутренних источниках», Фрейд не исходил из наивно-метафизического посыла. Тексты Фрейда нельзя рассматривать и критиковать с точки зрения деконструкции оппозиции «внутреннего и внешнего» – их склад задан дискурсивностью иного порядка и должен получать толкование в соответствии именно с ним. Другими словами, в этих текстах нет ничего наивного или самоочевидного.

Отсутствие самоочевидности подтверждается тем фактом, что фрейдовский текст может получить толкование лишь ретроактивным образом, задним числом. Именно в этом и состоял смысл лакановского вмешательства: речь не о том, что Лакан монополизирует Фрейда, поняв его единственно правильным образом. Обращение Лакана является восполнением Фрейда там, где происхождение интересующего Фрейда предмета – бессознательного – уходит корнями в область, о которой сам Фрейд не мог в то время поставить вопрос, но которая является оправданием избранной им эвристической стилистики.

Область эта находится в ведомстве философии, но при этом выскальзывает из ее дисциплинарности, поскольку философский подход состоит в разыскании, анализе и оценке различных истинностных способов высказывания о сущем. Психоанализ же подходит к этому с иной стороны – для него это область неотвратимых последствий некоторых из сделанных в философском дискурсе высказываний, само озвучивание которых необратимо изменило конфигурацию и параметры субъективности.

С данной точки зрения источник тревоги следует искать в этом изменении – и именно в этом смысле данный источник является «внутренним». Говоря о том, что нечто, участвующее в образовании бессознательного желания, исходит «изнутри» субъекта, Фрейд метонимическим образом указал на тот факт, что оно восходит к дискуссиям философов. Дискуссии эти во многих смыслах носили предположительно «внутренний» характер – здесь речь метафорически

может идти об узости и замкнутости собственно философского сообщества, но она также идет и о внутреннем характере структурных изменений в самом субъекте современности, которые опережали актуальный экономический и политический контекст.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.